

АЛЕКСАНДР
СНЕГИРЁВ

Бил и целовал

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000027214215

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «РУССКИЙ БУКЕР»



А Л Е К С А Н Д Р
С Н Е Г И Р Ё В

Бил и целовал



Москва
2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С53

Художественное оформление серии П. Петрова

В оформлении обложки использована
репродукция картины Тамары Лемпицкой
(Tamara De Lempicka) «Адам и Ева»
(«Adam and Eve»), 1932 год.

Снегирёв, Александр.

С53 **Бил и целовал / Александр Снегирёв.** —
Москва : Издательство «Э», 2016. — 320 с. —
(Александр Снегирёв: Проза о любви и боли).

ISBN 978-5-699-92238-3

«Мы стали неразлучны. Как-то ночью я провожал ее. Мы ласкались, сидя на ограде возле могилы. Вдруг ее тело обмякло, и она упала в кусты ярких осенних цветов, высаженных рядом с надгробием. Не в силах удержать ее, я повалился сверху, успев защитить ее голову от удара. Когда до меня дошло, что она потеряла сознание, то не придумал ничего лучшего, чем ударить ее по щеке и тотчас поцеловать. Во мне заговорили знания, почерпнутые из фильмов и детских сказок, когда шлепки по лицу и поцелуи поднимают с одра. Я впервые бил женщину, бил, чередуя удары с поцелуями». В новых и написанных ранее рассказах Александра Снегирёва жизнь то бьет, то целует, бьет и целует героев. Бить и целовать — блестящая метафора жизни, открытая Снегирёвым.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Снегирёв А., текст, 2016
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2016

ISBN 978-5-699-92238-3

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕНЗЕЛЬ



Мы смотрели на желтое море и ждали, когда принесут еду. Ресторан располагался на террасе над пляжем. Город, выстроенный русскими колонизаторами, громоздился выше, изо всех сил делая вид, будто не замечает, что стоит у моря. Пляж, втиснутый между рестораном и портом, оказался невелик, остальная прибрежная полоса была пустынной, и только груды мусора украшали ее. Город отворачивался от желтых волн, устремляясь в горы. Давным-давно русские завоеватели согнали оттуда предков нынешних горожан, распределили их тут, в долине, в обустроенные дома на прямых длинных улицах. Захламленные набережные, разномастные пристройки, до неузнаваемости залепившие регулярные фасады, сообщали об ослаблении русской хватки и сползании аборигенов в привычную кособокую среду с глухими стенами, закупоренными дворами, с не-

доверием, враждой, а главное — со страхом перед бескрайним пространством моря.

Мы сидели на пустой террасе и рассуждали обо всем этом, а еще о том, что цивилизация, какими бы жестокими методами она ни насаждалась, все равно лучше, чем Средневековье. Что бы ни говорили про жестокость русских экспедиционных полков, но именно они принесли сюда архитектуру, письменность, искусство, науку, антибиотики и бесчисленное множество других вещей, без которых человека и человеком-то не всегда можно назвать.

Пока мы упивались величием собственной культуры, а соответственно и самих себя, официантка с красивым лицом в пятнах принесла блюда, и мы смолкли. Аппетит наш был вызван не только голодом и морским воздухом, но и кулинарными достоинствами еды. Когда тарелки опустели, настрой наш сменился с воинственного на куда более миролюбивый. Лениво продолжив обсуждение, мы признали, что в этой грубой на первый взгляд неупорядоченности есть своя прелесть, которая, возможно, не хуже, а может, даже лучше бульваров с тенистыми аллеями, особняков с лепными фасадами и драматических театров с классическими постановками.

После глотков, сделанных из бокалов и рюмок, мы совсем подобрели и сошлись на том, что жизнь повсюду разная, что так и задумано природой и наше дело не сетовать, а вникать, наслаждаться и не мешать другим. Философствованию мы, однако, предавались недолго и вскоре перешли на воспоминания.

Нас было трое: знаменитый пожилой профессор, ваш покорный слуга и блистательная дама, верховодящая в нашей троице по причине того, что ни я, ни тем более профессор не любили спорить. Мы приехали на форум, посвященный диалогу культур. Существовал этот форум только потому, что позволял местным чиновникам отчитываться перед центром. В результате у редющей местной интеллигенции рождалась иллюзия причастности к великой культуре слабеющей метрополии. Умиротворенные пищеварением, мы принялись делиться забавными и курьезными историями из прошлого и скоро вышли на извечную тему захлопнувшейся двери. Тут-то наша блистательная предводительница и взяла слово...

Случилось это лет двадцать тому назад. Ей тогда было... Рассказчица с шутовским кокетством задумалась.... Сколько бы ни было, она

и тогда уже блистала не тусклее теперешнего, была вся из себя и ходила по своей красивой квартире в фиалковой пижаме и на каблучках. При такой своей соблазнительности была она особой не ветреной, на сторону не глядела и хранила верность мужчине, любившему лежать на диване в гостиной. Лежал он не просто так, а в наушниках, через которые транслировались божественные органные мелодии. Рассказчица музыку любила, но умеренно, поэтому наушники и появились — ну не могла она регулярно выносить всю эту церковную патетику. Чтобы не лишать своего спутника жизни любимого хобби, она купила наушники и однажды вечером нежно надела на его голову. Слушай на здоровье, дорогой. Так они время и проводили: он — в наушниках на диване, а она — на каблучках по комнатам. Цокала и думала, как же у нее все уютно и красиво. И сигареты одну за другой выкуривала.

В один из таких вечеров, когда он, по обыкновению, прикрыв глаза, наслаждался сложными гармониями, а она докурила очередную с ментолом, ей пришла мысль выглянуть в окно. По ту сторону стекол стоял январский мороз, во дворе не было ни души, надвигалась ночь. От увиденного нашей героине ста-

ло совсем хорошо: она в тепле и уюте, а там вон какой минус и неприкаянность. И тут удивительное и вместе с тем распространенное желание охватило ее — захотелось выйти туда, в эту застывшую темень. Не выйти даже, а только нос высунуть. Чтобы обожгло. Мороз подразнить — и обратно к масляной и акварельной живописи на стенах, к фарфору в буфете, к паркету на полу. Именно такое желание тянет нас из благополучных городов в дикие края. Именно оно подталкивает папиных дочек на баррикады, а маменькиных сынков превращает в кровожадных героев. Хочется острее почувствовать, как же на самом деле хорошо дома!

Простучав каблучками мимо заслушавшегося мужчины, она, как была в фиалковой пижаме, вышла в прохладный подъезд. Тишина стояла абсолютная; даже показалось, что лифт, разбуженный ее вызовом, очень удивился. Спустившись, она открыла дверь.

Мороз, как страстный любовник, хлестнул по лицу и тотчас оказался везде: ворошил волосы, шарил под пижамой, пощипывал пальчики ног. И она доверчиво подалась ему навстречу. Всего один шажок — только вкусить немного и обратно.

Что случилось после, угадать нетрудно. Интерес представляют лишь детали. Шагнув из подъезда, она ступила каблучком на обледенелый гранит, поскользнулась, отпустила дверь и упала, а когда поднялась, дверь уже захлопнулась, и ей ничего не оставалось, как ощупывать фиалковые закрома в тщетных поисках ключа.

Настырность мороза больше не будоражила — наша рассказчица стремительно замерзала. Звонки в собственную квартиру ни к чему не привели — орган в наушниках заглушал любые домофонные трели. Она принялась трезвонить во все квартиры подряд. Но вот незадача: дело происходило в первых числах января — все укатили на каникулы, в целом подъезде светились только ее окна. Упрекнуть в черствости было решительно некого, даже пресловутые наушники — ее собственная инициатива.

Тщетно потыкав кнопки и убедившись, что результата это не принесет, она стала озираться и увидела, как во двор въехал автомобиль и покатил в ее сторону. Надеясь увидеть за рулем кого-нибудь из соседей, наша героиня воспрянула духом. Когда же она разглядела на водительском сиденье мужчину, то и вовсе

перестала некрасиво ежиться и потирать стынувшие ладони, а распрямила спину и только эффектно притопывала каблучками.

Водитель заглушил мотор и, прежде чем выйти, повозился в салоне. Она еще мысленно поторопила его, мол, долго копаешься. Когда же она увидела его в полный рост, то поняла — судьба свела ее с мужчиной, без всяких сомнений, интересным, жаль только, что с букетом. Тут ее постигло еще одно разочарование — новоприбывший направился не к подъезду, а в ресторан напротив.

Глядя тоскливо на плотно укутанный букет и думая о том, что о каких-нибудь уругвайских розах заботятся больше, чем о ней, она отбросила остатки кокетства и, потирая бока, дую в кулаки и хлюпая успешным изрядно покраснеть носом, последовала за интересным мужчиной.

Гордо вскинув голову в ответ на вопросительный взгляд гардеробщика, она оправила пижаму и, как можно вальяжнее, вошла в зал. Ресторан пустовал, занят был лишь один стол, за который и устремился человек с букетом. Компания веселых людей встретила его радостными возгласами, а одна дама, получив цветы, бросила на дарителя такой взгляд, что

наша едва не околевавшая героиня с отвращением отвернулась.

Усевшись у стойки, она несколько раз выразительно вздохнула и на вопрос — что сударыня желает? — рассказала бармену о своих злоключениях. Тот выслушал, пересказал все управляющему, который вошел в положение, и несчастной подали согревающий напиток. Подали, прошу заметить, совершенно бесплатно.

Жидкость согрела тело и размягчила сердце. Стало жалко саму себя. Устроенная, казалось бы, не одинокая, живопись опять же, фарфор, паркет... и вдруг угодила в такое нежное происшествие. Она думала о человеке в наушниках, о его к ней чувствах, о том, что ее ухода он до сих пор не заметил, что винить его не в чем, что жить с ним дальше нельзя, а без него невыносимо.

Здесь надо отметить, что никаких романтических поворотов судьбы, какие часто случаются на страницах, посвященных зимним праздникам, с героиней не случится. Нельзя заранее предуведомлять читателя о развитии сюжета, а уж тем более нельзя предупреждать о бесперспективности самых распространенных надежд, но это надо сделать именно сейчас, когда согревшаяся и захмелевшая героиня в очеред-

ной раз бросила взгляд на интересного мужчину и горько задумалась о своем, изменяющем ей на диване с Бахом. Именно теперь с ней, казалось бы, и должна случиться встреча. Именно теперь, когда она, униженная, оказалась на критически близком расстоянии от чужого тепла, должно случиться нечто очень важное.

Должно случиться и случится. Но не то, на что рассчитывали и мы с профессором, и она сама, и вы, дорогие читатели. Встреча ей и в самом деле предстояла, но не та, которую ждали мы, запрограммированные любовными историями с так называемым «счастливым концом».

Прикончив согревающий напиток и даже прожевав вместе с кожурой апельсиновую дольку, насаженную на край стакана, она поняла, что не может больше оставаться в ресторане ни минуты, тем более что интересный мужчина пригласил обладательницу букета на медленный танец. Поблагодарив персонал за отзывчивость, миновав гардеробщика, она вышла во двор и направилась к своему подъезду.

Тут-то ее внимание и привлекла приоткрытая калитка в стене. Было известно, что эта стена огораживает сад старинной усадьбы. Калитка всегда была заперта, и сколько наша

блистательная рассказчица жила здесь, столько она знала о существовании сада и о том, что попасть в него нет никакой возможности. Краешек его можно было увидеть с верхних этажей, но это толком ничего не сообщало, а проситься в квартиры под крышей ради сомнительного созерцания казалось неподобающим. Когда она была второклассницей, возникали идеи перелезть через стену, но стена была непреодолимо высока. Потом интерес поубавился и почти вовсе забылся до того самого мгновения, когда перед ее глазами оказалась приоткрытая калитка.

Давний интерес всколыхнулся в ней и, придав сил, заставил позабыть о морозе. Она подошла к калитке и толкнула черный, весь в клепках, железный лист. Руку обожгло ледяным металлом, тяжелая створка подалась.

Взору открылся даже не сад, а целый парк. Зима стояла малоснежная, лишь кое-где серели мерзлые комки. Фонарей или других источников света не было. Свет лился с неба, в котором мерцали золото и пурпур городской ночи. Кустарники, клумбы, дорожки и фонтан были окрашены в шелковистые оттенки бесцветья. Вдоль стен выстроились деревья, сформированные рукой садовника. Своими заплетенны-

ми, будто калачи, безлистными кронами они напоминали огромные выбивалки для ковров. Пышные, прямоугольно остриженные туи выстроились в лабиринт, в самом центре которого зияла опустевшая чаша фонтана. Над чашей возвышался замшелый каменный купидон, обхвативший здоровую рыбину. В жаркие деньки из рыбьей пасти наверняка хлещет сверкающая струя, фонтан полон, а в кронах поют соловьи.

Каблучки хрустели по туевому лабиринту, среди уснувших клумб и куртин, мимо растений-пирамид и растений — диковинных фигур. Температура окружающего воздуха падала, а женщина в фиалковой пижаме никак не могла насмотреться. Раньше ей приходилось видеть множество разных парков, знаменитых и не очень, больше и красивее этого, но почему-то никогда парк не волновал так, как теперь. Ей даже показалось, что идет она не по простым дорожкам, а повторяет своими шагами контуры какого-то таинственного вензеля. Может быть, даже вензеля самого Господа Бога.

Возможно, причиной таких мыслей стало ее падение на ступеньках, хотя головой она вроде не ударилась. Или на нее так подействовал согревающий напиток на основе крепкого вина, фруктов и специй. Или общее переох-

лаждение и утрата веры в собственную незыблемость. Или все это приключение в целом... А может, ее фантазию возбудило осуществление детской мечты? Да и неважно, в чем причина, а важно взявшееся откуда-то отчетливое понимание, что именно сейчас происходит ее самая главная встреча, что в деревьях, растениях, лабиринте и фонтане заключены все ответы, и прежде всего главный, сообщающий, что никаких ответов нет.

Потом она не могла вспомнить, что было сначала: она увидела или ощутила. Пошел снег. Она не подняла глаз, не ловила снежинки губами. Ничего такого. Снег падал на пирамидальные и прямоугольные хвойные, на деревья-выбивалки, на дорожки, на купидона и на фиалковую пижаму. Снег стал падать одновременно с наступлением осознания. И сразу сделалось холодно.

Подгоняемая отчаянием, обрушившимся с многократной силой, подхлестываемая оборзевшим морозом, она поспешила вон из сада и не заметила, как снова оказалась перед запертой дверью родного подъезда. Она опять позвонила в собственную квартиру, и ее бесконечные трели опять остались без ответа. Тогда она стала нажимать на все кноп-

ки подряд, поочередно и разом, и дверь вдруг открылась.

Произошедшее после несущественно. В квартире ничего не изменилось. Судя по положению лежащего на диване, в наушниках по-прежнему гремел орган. С момента ее ухода не прошло и часа.

Профессор произнес в честь рассказчицы тост, а я задал три вопроса: как у нее после этого с ее меломаном, бывала ли она в саду еще, и содержится ли в случившемся мораль? Отвечая на первый вопрос, она сказала, что все без изменений. Меломан по-прежнему лежит и слушает, разве что диван новый купили. В саду она больше не бывала — калитка всегда заперта. А мораль...

— В чем истина? — спросила наша блистательная предводительница и тут же ответила сама: — Каждый из нас знает ответ. Но мы притворяемся и обманываем себя, подобно этому городу, который делает вид, будто моря не существует. Но море от этого никуда не девается и каждый день, каждую минуту подтачивает город. Вот и мы думаем, что если не видим сада, значит — его нет. А сад есть. И открывается он нам тогда, когда мы меньше всего этого ждем.



— Это Степан? — каркнул из трубки незнакомый старик.

Домашним телефоном Миша не пользуется. Раньше звонили материны знакомые, коллеги. Выражали соболезнования.

О смерти матери не знавшие удивлялись, как это так, такая еще молодая, что же случилось, плохие врачи, вот у меня врач хороший, на ноги поставил. Миша от звонков этих устал, устал от удивления малознакомых людей, удивления, за которым поблескивала радость превосходства: они-то живы. Многие любопытничали, выспрашивали подробности болезни и очень разочаровывались, узнав, что болезни никакой не было. Не было страданий, паралича, ложных надежд, знахарей-шарлатанов, вонючих простыней, пролежней. Сосуд лопнул. И все. Интересующихся Мише еще

на похоронах хватило, один ее сослуживец все в гроб заглядывал — проверял, хороша ли коллега в своем последнем макияже. Однажды Миша перестал поднимать трубку, и звонки сами собой прекратились. На этот раз звонок разбудил его, он долго ворочался и прятался под одеяло, собрался было выдернуть шнур или поднять трубку и сразу же положить, но сдался, приложил трубку к уху.

— Это кто?! — рявкнул, срываясь, голос.

Вот мерзкий старикашка. Поколение грубиянов. Это кто? Тебя надо спросить «это кто?». Сдержав раздражение, Миша представился с манерно-шутовским вызовом:

— Михаил Глушецкий к вашим услугам.

В трубке воцарилась тишина. Миша начал злиться. Разбудил, а теперь молчит. Уж не окочурился ли неизвестный пенсионер на том конце провода? Миша алекнул, проверяя у собеседника пульс.

— Валентину позови, — отозвался старик.

Ну вот, опять. Какой-то на ладан дышащий тип хочет говорить с матерью, которая скоро год как в могиле.

Миша уже выучился отвечать: «Она умерла». Отвечать не запинаясь. Отвечать и не смотреть после этого по часу на какой-нибудь

предмет, который такого пристального внимания не заслуживает.

— Она умерла.

В трубке опять провал. Но не такой продолжительный, как предыдущий.

— А ты ей кто?

— Послушайте! — не выдержал Миша. — Хватит мне тыкать! Вы сами-то кто? С какой стати меня допрашиваете?

Молчание.

— Ты сын Валентины?

— Ну сын, дальше что?!

В голосе старикашки Миша чуял военную привычку говорить коротко, не просить, отдавать приказы. Военных он терпеть не мог. Солдафонов. Пока он боролся с желанием высказать в трубку все, что думает по поводу военных, обязательного призыва и дедовщины, старикашка заговорил:

— Ты не Миша Глушецкий. Ты Степан Васильевич Свет.

После смерти матери Миша остался без родственников. Отца не помнил, о нем мать рассказывала разное. То отец был ее однокурсником в пехоте, то моряком, то сотрудником иностранного посольства. Ничего определен-

ного. Не будь мать строгой чопорной училкой, Миша мог бы решить, что она и сама толком не знает, от кого залетела. Еще в раннем детстве он обнаружил странность — он носил фамилию матери. У остальных детей фамилии были отцовские. Сколько Миша мать ни расспрашивал, ничего внятного добиться не мог и однажды просто потерял интерес к своему происхождению.

— Это друг твоего дедушки тебя беспокоит.

— Мой дедушка давно умер.

Трубка ненадолго затихла.

— Я говорю про отца Васи, папаши твоего беспутного.

— Моего отца зовут Григорий, — возразил Миша.

Глупо утверждать, что твоего отца зовут Григорий, только потому, что отчество у тебя Григорьевич. Миша понял это, еще не успев прозвенеть «и» кратким в конце имени предположительного родителя.

— Вася с Валентиной Степаном тебя назвали. В честь деда. В честь его деда. Он мне сам говорил. Вася был кобель и пьяница, разбежались они быстро. Валентина тебя от папашки отгораживала, отчество тебе придумала. Я чего звоню: Вася лет пять как помер, и дед

твой недавно... — Старик замолк. — Он мне велел найти тебя и дом перевести. Квартирка еще была, да Вася пропил. Мне недолго... Приезжай. К нотариусу надо.

С улицы летел звон, хруст и грохот. В подъезде меняли окна, старые рамы сваливали в железный контейнер.

* * *

Выходило, никакой он не Миша. Не Михаил Григорьевич Глушецкий, не очкарик-переводчик, у которого папа за морем, за границей, черт знает где, а Степан Свет, у которого папаша-алкаш в земле сырой. Миша-Степа снова подивился матери, ее умению хранить тайну, ее ощущению своего права унести эту тайну в могилу.

Даже мелькнула мысль, не ловушка ли это. Нет ли у него тайных врагов, кому он не угодил на переговорах, ошибся с переводом, импорт с экспортом перепутал. Заманят в глухое место — и убьют. Но разыгравшаяся фантазия не подкреплялась реальными фактами. Никаких врагов Миша припомнить не мог, никто к нему претензий не имел, а работать на переговорах, касающихся секретной информации, он сознательно отказывался.

Вечером в гости заглянула Катя. Возлюбленная. Любовница. Девушка. С Катей он уже несколько месяцев. Принесла бутылку, стала что-то резать, жарить и смешивать. Миша тербил пальцы, отвечал невпопад.

— Так как тебе идея? — Катя поставила перед ним тарелку.

— Идея неплохая, но стоит подумать...

— О чем тут думать, каждый день буду тебе готовить, чего ты такой напуганный?

Миша очнулся: о чем это она, о какой такой идее спрашивает его мнения?

— Я люблю тебя и хочу просыпаться рядом с тобой. — Катя опустила на пол у его ног, положила голову ему на колени. Волосы распались, сверкнула молния пробора.

— Мне предлагают работу в Лондоне. Контракт на год с возможностью продления. Я думаю... — Она смотрела на него снизу вверх.

— Да-да... Знаешь, сегодня такой странный человек звонил...

И он рассказал ей подробности утреннего разговора. Ничего не утаил, даже секрет своего имени.

— А я-то думала, что влюбилась в еврейского интеллигента! — рассмеялась Катя. — Степан Васильевич Свет! Имя больше подходит

какому-нибудь генералу госбезопасности. Генерал по контролю за оборотом тьмы.

Обсудив таинственного посланца от покойника-деда, они решили, что все это похоже на маловероятную, но все же правду. Завтра Катя с самого утра занята, Миша вполне может ехать один, посмотрит, что и как, и если вся эта история – не ошибка слабоумного старика, он познакомит с ним и ее.

Миша отложил работу, отменил встречи, сказав, что должен уделить время пожилому родственнику, и отправился на поиски таинственного семейного дома, в котором ныне обитал душеприказчик его родного деда.

Зарабатывал Миша переводом: участвовал в подписании договоров между компаниями, присутствовал на встречах банкиров. Иногда его приглашали на переговоры представителей бизнеса с политиками, где одни давили, а другие пытались отдалиться как можно дороже. Такие встречи были единственным соприкосновением Миши с миром полученной в университете профессии.

В конце двадцатого века Миша изучал политическую науку, а в самом начале века двадцать первого на торжественной церемонии,

перед которой под залог паспорта студентам выдали магистерские мантии и шапочки с квадратным блином и кисточкой, получил диплом с державным золотым тиснением. Ректор пожал Мише руку. Отныне он именовался магистром политических наук. Вот только политика к тому времени в стране закончилась.

В последнее десятилетие двадцатого века, десятилетие беспредела и надежд, в России начали готовить профессионалов для обеспечения работы демократической многопартийной системы. Студентов учили быть консультантами при партийных вождах, мудрыми советниками президентов, знатоками опыта прошлого, предостерегающими от повторения ошибок. Ведущим преподавателем был молодой еще мужчина, успевший побывать и министром, и советником, и депутатом, а теперь временно ушедший в науку, чтобы скоротать ожидание новой должности. В заключение семинаров он любил рассказать историю из своего недавнего славного прошлого, делился хохмами о встречах руководителей государств, потчевал молодежь байками об известных государственных деятелях. Этот бывший любил приговаривать, что вот, мол, скоро назначение, уже в кулуарах решают и вот-вот снова

его призовут, вставят обратно в обойму, ведь без его опыта и мудрости ну никак... Прошел год, другой, политический олимп заполнили новые люди, у которых были свои застоявшиеся приближенные, и про рвущегося из университетского стойла, постаревшего раньше времени хохмача позабыли.

Миша думал, что сможет принести стране пользу, сможет применить свои умения. Он верил, что знания Алексиса де Токвиля, Хайдеггера и Леви-Стросса, транслируемые через него, уберегут Россию от очередной диктатуры, обеспечат свободу и процветание.

Вышло иначе. К моменту получения золоченого диплома, когда преподаватель притих и прекратил хорохориться, когда иссякли и стали повторяться его анекдоты, а сам он все больше хлопотал, как бы дочку выдать замуж за европейца да о зарплате, растущей слишком уж медленно, политические выборы превратились в скучное представление с предсказуемой развязкой, пузырь лопнул, и след от него затянула привычная русская тина, ровная и бескрайняя. Цепляясь за веру в авторитарную, но просвещенную власть, Миша попробовал было встроиться в этот механизм, но, столкнувшись с тем, что единственной кон-

стантой любых действий является только выгода начальственной группировки, ушел. С тех пор кормил Мишу другой, полученный параллельно, лишенный всякого тиснения диплом переводчика с английского языка и обратно.

Следуя подробным указаниям старика и карте, Миша катил деревенской улицей, которая ворочалась под автомобилем, выставляя все свои горбы. С обеих сторон желто-ржавой октябрьской мочалкой напозлали кусты, свешивались ветлы и валялись дома, будто пьяные, жаждущие поговорить по душам. Улица в русском селе — не то обстроенная избами вместо трибун арена, не то русло пересохшей реки. Края неровные, дома не в линию, а как-то вокруг. Здесь и кусты растут, и целые деревца, и тропки стихийные разбегаются. Посреди такой улицы можно кровать поставить, хоть вдоль, хоть поперек, лежать себе и наблюдать светила — никто не потревожит.

Деревня всего километрах в восьмидесяти от города выглядела необитаемой: большинство домов прорастали изнутри деревьями, несколько избенок покрепче со следами свежей краски были законсервированы до следующего лета. Ни лая собак, ни кудахтанья кур. Старик

дал четкие инструкции, и Миша, вопреки опасениям, без труда нашел нужный дом на самом отшибе, у поля. Облезлые ветви перли поверх линялых, истлевших, мягких от старости досок забора. Сизый, крытый шифером, накренившийся сруб напоминал уснувшего пса.

Отогнув, согласно обстоятельным телефонным указаниям, проволоку, Миша распахнул калитку. Точнее, калитка выпала на него, едва он освободил ее. Пройдя по усыпанной листьями дорожке, он поднялся по гнилым ступенькам. Постучал. Стеклопанельная дверь веранды передразнила звоном.

— Эй, есть кто?! Это Миша!

Только теперь он сообразил, что не знает имени старика. Во время вчерашнего разговора тот не представился. После нескольких минут тщетного стука и криков, на которые никто не отзывался, Миша дернул дверь — та оказалась открытой, и он вошел на веранду.

Потрескавшийся, подбитый гвоздиками линолеум. Дрожащий пол. От каждого шага позвякивают стаканы в серванте. Обои, разрисованные выцветшими цветочными гирляндами. Несвежий дух.

— Добрый день! Миша приехал! — прокричал Миша. — То есть Степа. Я приехал!

И тут же вздрогнул от чужого прикосновения. Даже подпрыгнул. Чего тотчас устыдился. Позади него в кресле сидел круглоголовый старик в черной ватной телогрейке, в синих заношенных трениках, заправленных в шерстяные носки: один носок был высоким коричневым, с вывязанной на нем снежинкой, другой — короткий серый с красным штопаным и снова продраным мыском. Старик толкал Мишу концом клюки:

— Не шуми.

Миша вдруг понял, что не знает, как поздороваться. Пожать руку? Просто кивнуть? Может, обнять...

От старика заметно пахло. Миша решил на рукопожатие.

— Здравствуйте! — неестественно громко крикнул он, забыв о просьбе не шуметь.

— Чего орешь, я не глухой пока.

— Михаил Глушецкий по вашему приказанию прибыл, — шутливо отрекомендовался Миша на военный лад. Пенсам ведь нравится все военное, с оттенком великодержавности.

Старик презрительно фыркнул:

— Какой ты Глушецкий, чтобы я этой жи... — Старик оборвал себя. — Этой... нерусской фамилии больше не слышал! Ты — Свет!

Он наконец протянул Мише руку. Миша пожал.

— Чего ты меня тискаешь, встать помоги!

Костлявые пальцы вцепилась Мише в ладонь. Дернули. Его мотнуло к старику. Дурной запах ударил в нос. И даже куда-то в лоб. Под кость. Вспомнил фреску Микеланджело. Создатель протягивает руку свежесотворенному Адаму. А вот если бы Адам протягивал руку Творцу, одряхлевшему, немощному и больному... Вставайте, папаша, созданный вами мир гниет и разваливается, переезжаем в другой, а этот спалим.

Поднявшись на дрожащих ногах, старик обнаружил себя некрупным и сгорбленным грибом с мохнатыми ушами. Белые брови были густы чрезвычайно, отдельные длинные волосинки торчали кошачьими усами-антеннами, закручиваясь на концах, надбровные дуги выступали буграми. Нос с черными порами и пучками из ноздрей заметно выдавался. Рот до конца не захлопывался. Правая рука мелко дрыгалась. Миша обратил внимание, что старик на него не смотрит. Пялится в пол, в стену, на Мишины кроссовки — куда угодно, только не смотрит в глаза.

— Паспорт взял? — переведя дух после подъема с кресла, спросил старик, изучая растянутые джинсы на Мишиных коленках.

— Взял.

— Завтра к десяти к нотариусу поедем дарственную составлять. Дом этот тебе останется. Есть хочешь?

— Еще не проголодался, спасибо, — отказался Миша, стараясь, чтобы голос звучал веселее.

— Что? — переспросил строптивый старик. Он все-таки был туговат на одно ухо.

— Есть пока не хочу! — громко повторил Миша.

— Не ори.

С того первого их телефонного разговора старик ни разу не попросил, а только и делал, что отдавал приказания. В другой раз Миша бы возмутился, встал бы в позу, но встреча с этим человеком, выпрыгнувшим из небытия, так поражала и занимала, что Миша не артачился, не своевольничал и выполнял все требования.

Миша был воспитан нежной одинокой матерью, которая обрушивала на него всю свою нерастраченную страсть. Любил разговоры ласковые, душевные. За сутки, прошедшие со вчерашнего утра, он успел нафантазировать общение с приятелем родного деда, которого никогда не видел. Разговор этот Миша представлял себе в ключе несколько идиллическом.

Вот они сидят у камина или у печки, старик рассказывает истории из жизни его деда, вспоминает об удивительных подвигах, с гордостью за то, что был его другом, имел, так сказать, честь, а напоследок благосклонно сообщает, что Миша, то есть Степа, похож на того Степу в молодости, ох как похож. В реальности же старик ничего подобного не проделывал, ничего рассказывать не собирался, и ждать нежностей от него явно не приходилось.

Вцепившись в Мишину руку, он вошел с веранды в избу. Ступая медленно, подстроившись под шаг старика, вдыхая вонь как можно более скупую, Миша осмотрелся. Грязь повсюду накопилась необычайная. Как покрытый водорослями песок на дне морском колышется от колебаний воды, так пушистый ковер пыли дрогнул от волны воздуха, поднятой распахнувшейся дверью. Пыль бархатилась повсюду. Мише показалось, что он угодил в жилище существа, обитающего на таких глубинах, куда никогда не спускались ни водолаз Кусто, ни отшельник Немо. Большой круглый стол был заставлен бесчисленными склянками, коробочками с лекарствами — вместе они напоминали макет города, где главными часами был оставившийся будильник. Некоторые склянки

были не такими пыльными, как другие, что говорило о том, что хозяин изредка употребляет их содержимое. Над столом висела бронзовая люстра без плафона. В двустворчатом книжном шкафу стояло несколько потрепанных томов с незнакомыми именами и названиями на корешках. Мише почему-то запомнилась книжка «Голубые сутробы». За стеклами буфета была кое-как расставлена случайная посуда: несколько бокалов, рюмок с золотыми каемками, стопка тарелок, чашка. На стене висела большая черно-белая фотография, запечатлевшая молодого мужчину в гимнастерке с петлицами на вороте и с ремешком через правое плечо. Погон на его плечах не было, форма явно довоенная или первые годы ВОВ.

— Дед твой, — прокомментировал старик. Хотя смотрел в другую сторону и никак не мог знать, что Миша заметил фотографию.

Умение видеть затылком напугало Мишу. Что-то звериное было в этом.

Станный у него был дед: жил с каким-то мужиком, который теперь на его фотографию любит и наследство его определяет. Мишу отвлек неприличный и вместе с тем характерный звук, который у людей часто случается, но который не принято производить в обществе.

— Калоприемник, — объяснил старик, и голос его показался Мише смущенным. — Рак прямой кишки. Четвертая стадия.

Они доплелись до кухоньки. Стол был накрыт, точнее — облеплен старой, напитанной продуктовыми соками газетой. Из миски с нарезанными помидорами лениво поднялись осенние мухи. С голой загаженной лампочки свисала липкая, хрустящая, шевелящаяся от мух лента. Пузатый холодильник «ЗИС» распирала плесень, буйно расползающаяся из его железного чрева. Нутро холодильника, как и хозяйское, безнадежно загнило. Старик опустился на единственную табуретку и принялся за помидоры, отправляя их в рот трясущейся вилкой. Прооперированная кишка снова пукнула. На этот раз более смачно.

— Чего встал, коли есть не хочешь, — буркнул едок, понимая, какое отвращение он вызывает у гостя.

По бледной, в коричневых крупинках лысине ползла муха.

— Там... — Старик едва заметно указал рукой. — Там комната для тебя. Раньше в ней Вася жил. — И красная помидорная слюна длинным жгутом повисла на его губе.

Вечером хозяин велел спилить засохшую яблоню. Бензопила хранилась у него под кроватью. В сарае пилу не оставлял, опасался воров. Миша быстро приноровился к опасному инструменту и свалил старое дерево. Хруст последних волокон подпиленного ствола, падение и шелестящий удар ветвей о землю. Ствол Миша порезал на короткие чурки. Руки ломило, улыбка в опилках растягивала лицо. Никогда прежде он не пилил дров бензопилой и теперь испытывал радость простого труда. Ту радость, что выдувает из головы любые мысли, делает счастливым.

Ворочаясь на старом жестком диване, он вдыхал запах чистых, но долго пролежавших в шкафу, а потому затхлых простыней. В доме было прохладно — дедок оказался скрягой, запретил «попусту жечь» дрова. Электрический нагреватель имелся только один, в его комнате.

Непривычные звуки сада, отсутствие автомобильных гудков и сирен, скрипы дома, шепуршение мышей тревожили Мишу. Только он погружался в дрему, холодильник вздрагивал и начинал тарыхтеть своим сталинским мотором. Пол и межкомнатные перегородки тряслись. Чашки в буфете дребезжали.

Но сильнее всего Мишу тревожили мысли. Вечером, выйдя прогуляться, он позвонил Кате и подробно рассказал ей о встрече с загадочным стариком, о том, что переночует в доме, а завтра рано утром повезет его составлять завещание. Имя старика он так и не узнал. Спросил раз, но тот не расслышал или сделал вид. Миша постеснялся продолжить расспросы, решил, что старик мог представиться еще при первом их разговоре по телефону, просто из головы выскочило, и теперь неудобно выказывать такую забывчивость.

Когда Мише все-таки удалось заснуть, ему приснилось, что в комнату ввалился огромный черный медведь. Зверь скалил клыки, вцепился когтистыми лапами в Мишино горло. Оцепеневший от ужаса, Миша не мог пошевелиться, только рука одна произвольно упала в щель между стеной и диваном. Пальцы коснулись чего-то гладкого, деревянного. Топорище. Рука налилась силой. Хрипя под медвежьими лапами, Миша выхватил топор и рубанул зверя по голове. Медведь ослабил хватку. Миша стал молотить топором по медвежьему лбу как попало — острием, обухом, плашмя... Бил, пока не опомнился. А когда опомнился, ничего от головы медвежьей не

осталось, а веки Мишины слипались от медвежьей крови.

От ужаса перед самим собой, перед собственной жестокостью Миша проснулся. В окно стучала ветка. Он пошарил между диваном и стеной. Пальцы нащупали гладкую деревянную рукоять. Вытащил находку. В тусклом свете раннего утра разглядел топор.

За спиной булькнуло. Миша подскочил. Руки сами собой дернулись, чуть топором себя в лицо не ударил. Обернулся. В двери стоял старик. Старомодный, кургузый, но опрятный коричневый пиджак, того же цвета брюки. Темный галстук. Черные начищенные ботинки.

— Для разведки не гожусь, — сострил старикашка, и Мише показалось, что его отвисшая губа скривилась в усмешке. — Давно стою, на тебя смотрю. Плохо спалось?

— Новое место. Непривычно.

— Привыкнешь. Пей чай, и поехали.

В очереди у нотариуса долго ждать не пришлось. Старик записался заранее, и вскоре крупный мужчина с усишками пригласил их в кабинет.

Стены кабинета украшали вымпелы и грамоты, сообщающие, что нотариус в прошлом

служил в КГБ и всячески там отличился. На большой фотографии усатенький стоял в компании одинаковых, как матрешки, детей, буженинные оковалки голов которых оплывали на камуфляжные плечи. Полиэтиленовые глаза, мягкие туши, поросшие светлой шерстью, жаркая прелость под мышками, в паху, катышки между пальцами ног. Папилочки, шрамики бледные аппендицитные. Разговелись, проперделись, похристосовались.

Почуяв их запах, Миша захлебнулся в страхе и брезгливости. Мыши. Хочется прихлопнуть, но до того мерзко, что вспрыгиваешь на табуретку. Чувство, знакомое каждому русскому интеллигенту. А Миша, конечно, интеллигент. Начитанный, всегда против, люто ненавидит опричников, чекистов, службу вечной местной тайной канцелярии. Держится от таких на расстоянии, лапищи их кровавые не пожимает, правда, и те на рукопожатиях не настаивают, на другую сторону улицы переходит и оттуда полными презрения глазами буровит ненавистные, кожаные, шинельные, камуфляжные спины.

Будь его воля, он бы всех этих усатых собрал на корабль, вывез бы в море и потопил. Чтобы вода даже запах похоронила. Ведь из-за

этой крепко затвердевшей кучки его знания, его надежды похоронены. Из-за них профессия его не нужна, диплом тисненый — на растопку, лишь подхалимство и умение закрывать глаза пользуются спросом. Из-за них одни друзья спиваются, другие терпят, убаюкивая себя: «Все не так уж плохо, может, так и надо, а кое в чем, пожалуй, даже правильно, откуда нам знать все тонкости». Руки у всех опускаются, не стремятся здесь ни к чему, а лишь отсюда подальше стремятся. Из-за них Россия с боку на бок ворочается, от вечного бодуна очнуться не может.

А сами-то они кто, нынешние слуги тайных ведомств? Недалекие подпевалы, обезьянничавшие двоечники, миноритарии поеденных молью идеологий, щерящие одолженные у мумий вставные челюсти, подворывающие втихую, путано крестясь на портретик начальника. И усики-то у них жалкие. Не николаевские — калачиком, не кошачьи буденновские, не сталинские жирные, не усы Сальвадора Дали, а невыразительная лобковая поросьль низших чинов, трусливо подсматривающих в щелочку за демиургами прошлого.

Эти мясные бойцы выдавили на корабль таких, как Миша. Дожляков, умников, очкари-

ков, лишних. Он работал однажды на выставке зарубежной недвижимости. Люди валом валили, хоть бы что прикупить — домик, квартирку, закуток. И не для отдыха, а для побега из страны, которая в любой момент может полыхнуть. Гадливый страх поселился в людях. Страх этот разъедает души, уродует мечты, перетирает жизни.

Мать рассказывала о бабушке, которая после ареста мужа, Мишиного деда, отказалась от него в письменной форме. Подпись поставила. И дату. А потом до самой смерти места себе не находила. А он, когда в пятьдесят шестом из Казахстана вернулся, прощения у нее просил за то, что своим приговором испортил ей жизнь. Мишина мать люто ненавидела всех без разбора бойцов внутреннего фронта. За отца своего ненавидела, за мать, за себя, за всех расстрелянных, перекованных, штабелями в рудниках уложенных, в каменистую почву Колымы втоптаных. Ненависть не приносила ей счастья, не прибавляла сил. Ненависть подтачивала ее, отравляла. Мать сжигала саму себя в своем же двигателе.

Те мрачные времена Миша представлял себе весьма смутно, «плохих» он, как и следовало человеку его круга, ненавидел, «хоро-

ших» почитал за мучеников. Эпоха оживала в его воображении схематично. Что такое каменистая почва Колымы, Миша не знал. Читал, что почва в тех местах каменистая, но как именно выражается ее каменистость? Это когда одни камни? Или земля вперемешку с камнями? Или земля твердая настолько, что напоминает камень? А если все-таки камни, то какие: округлые или острые, крупные или мелкие?..

Миша завидовал могуществу государевых псов, их неистребимости, влекущей и устрашающей силе. Ненависть Мишина была истерической, так ненавидят правозащитницы с надломленной психикой, так ненавидят крестоносцы Страсбургского суда, грантососы-неудачники, шакалящие у западных посольств.

Разобравшись в причине визита, хозяин кабинета строго попросил Мишу выйти.

— Я должен поговорить с дедушкой наедине и удостовериться, что он сам принимает решение и никакого давления на него не оказывается. Вы только паспорт оставьте.

В коридоре Миша стал прохаживаться взад и вперед мимо ожидающих своей очереди посетителей. Минут через двадцать нотариус распахнул дверь и приветливо пригласил

Мишу обратно. Физиономия его так и светилась, усишки топорщились.

— Вот не ожидал. Такие люди еще есть среди нас! — восклицал нотариус.

Ассистентка принесла чай и поднос с печеньями-конфетами.

— Угощайтесь! — ластился нотариус.

Миша откусил печенье, гадая, чем вызвана такая любезность. Чем этот хрипло дышащий, вонючий старик так угодил? Тот сидел, сложив руки на рукоятке клюки, и смотрел в одну точку. Миша грыз печенье и прислушивался к своей просыпающейся ненависти. Ненависть потянулась после долгого сна, зевнула. Расправляла крылья, вертела затекшей шеей. Ноздри уловили тонкий запах фекалий.

На прощание нотариус похлопал Мишу по плечу и напутствовал:

— Вы можете гордиться вашим дедом. Надеюсь, встретимся не скоро.

Уезжать сразу после оформления дарственной было неудобно. Выходило, приехал только ради наследства и, получив желаемое, больше в одиноком старике не нуждается. Пускай он вернется через несколько дней, но... Не найдя никаких моющих средств, Миша, прео-

долевая отвращение, взялся ножом отскребать облепленный газетами кухонный стол.

— Чего расхозяйничался?!

— Стол хочу отмыть. Грязный очень, — оправдался Миша.

— Нечего тут! Езжай. Звонить будешь раз в два дня. Чтобы я тут не гнил долго, когда откинусь. А то дом так провоняет, что жить не сможешь. Завещание у нотариуса. После моей смерти в течение полугода к нему с паспортом. Запомни: этот дом дед твой построил. Береги его, ремонтируй, поддерживай, детям оставишь.

Смущенный отказом от помощи и обрадованный избавлением от гадкой уборки, Миша съездил в магазин, купил продуктов, электрочайник, который был встречен недовольным бурчанием, зарядил баллон газом и укатил с чувством освобождения от тяжелого груза.

Катя, выслушав подробный, приправленный комическими штрихами рассказ о получении наследства, смеялась и едва не плакала одновременно.

— Хоть он и отказывается, надо помогать. Старики все упрямые. На выходных вместе поедем, порядок наведем. Ему жить-то осталось совсем чуть-чуть. Может, в город его перевезти?

— Он не согласится.

— Я с ним поговорю, согласится. Он тебе хоть и не родственник, но все равно надо помочь. Честно сделал то, о чем твой дедушка просил. Мог бы какой-нибудь сиделке завещать. Нельзя старика одного бросить.

Мишу завертели дела, встречи с иностранцами, долгие, затягивающиеся до глубокой ночи переговоры. Каждый раз, когда он собирался звонить старику-благодетелю, что-то мешало. То работа, то поздний час. А потом он опять забывал. Опомнился дней через пять.

Заметно нервничая, набрал номер. Автоматический голос сообщил, что телефон находится вне зоны действия сети. Миша не волновался — в деревне плохой прием. Перезвонил снова. На этот раз гудки. Дождавшись автоответчика, сбросил и снова набрал. Гудки. В течение всего дня Миша звонил в каждом перерыве, на каждом перекуре. Никто не ответил.

С трудом дождавшись окончания встречи, на которой он был прикомандирован к юристу нефтяной компании, Миша помчался в деревню. Пустая улица, валящиеся дома. Показалось, улица стала уже, а дома накренились сильнее и вот-вот прихлопнут его.

Дверь, как и в прошлый раз, оказалась не заперта...

Старик лежал поперек порога своей комнаты.

Миша кувырнулся к нему:

— Эй! Вы чего?! Вы живы?! Эй!

Миша тряс старика, словно куклу. Ненавидел его за то, что он может вот так вдруг умереть. Стал щупать пульс. На запястьях. На шее. Побежал за зеркальцем. Не нашел, вернулся.

Раздался знакомый звук. Миша никогда так не радовался пердежу. Тем более чужому.

— Чего суетишься... — булькая горлом, прошамкал скукоженный рот.

Миша поцеловал костлявую руку. Любовь к этому вонючему, едва живому непонятно кому вдруг наполнила его. Захватила и согрела.

Он доволок ожившего до кровати.

— Помоги сменить. — Старик с усилием задрал на боку байковую рубашку. — Ночью автоматчики приходили, сегодня старшой их вернется.

— Кто приходил? — вытаращился Миша.

— Стоит вон, сторожит. — Старик мотнул головой.

Миша посмотрел в ту сторону. Табуретка.

— Боятся, как бы я не убег, — скривился улыбкой старик. — Смени пока.

Он указал на упаковку сменных калоприемников.

Сраженный его галлюцинациями, Миша поставил чайник.

Как быстро развивается болезнь... Неделю назад был абсолютно трезвомыслящий человек.

Наполнил таз кипятком. Перекинул стариковскую руку себе через шею и дотащил его, словно раненого, до стула. Отлепил раздувшийся переполненный пакет, омыл ярко-бордовую, кровяную кишку-трубочку, торчащую краником из бледного живота. Намылil кожу рядом с кишкой и стал аккуратно брить отросшие волоски старинным станком. Странная мысль мелькнула у него в голове. Странная и отвратительная. Захотелось эту кишку срезать. Такой лишней она показалась. Такой раздражающей. Гадкой и вожденной. Миша с трудом удержал руку от произвольного движения.

Он снял предохраняющую бумажку с клейкого кружка, продел отросток в отверстие в пакете, приклеил пакет к бледному боку, хорошенько прижал к коже.

— Ничего. Завтра к врачу поедem. Поправишься. А хочешь помыться? — улыбнулся Миша. — Давай я тебя помою. Будешь чистенький!

Он разжег плиту. Взгромоздил на конфорку полное ведро. Подтащил нагреватель поближе. Растопил печь. Когда вода забурлила, наполнил корыто, разбавил ледяной из колодца. Расплескивая колышущуюся гладь, успел укорить себя за несообразительность — надо было пустое корыто принести и на месте наполнить. Помог старику стянуть байковую рубашку, майку, шерстяные носки, синие штаны. Вооружившись заваливающейся губкой для мытья посуды, Миша принялся тереть маленькое, белое, беззащитное тело. Взбухшие вены, сморщенные складки, красные сосуды. Дряблый ребенок. Наконец у него появился ребенок. Большой, нелепый, старый ребенок, и он с ним нянчится. Натирая спину, Миша невзначай прижался к гладкой макушке.

— Когда Вася Валентину в дом привел знакомиться, она болтать стала, — заговорил Степан Васильевич неожиданно. Будто мочалкой Миша кнопку «play» задел. — Товарища Сталина назвала преступником.

— У мамы отец репрессирован, можно понять. А вы откуда знаете?..

— Я тогда Васе сказал, что Валентина для меня не существует.

Миша вздохнул. Бедняга путает себя с его дедом. Был, наверное, такой случай, дед ему рассказал. Эх, дурацкие стариковские принципы. Существует — не существует. Как будто непонятно, кто такой был этот ваш товарищ Сталин. Да и можно ли из-за слова «преступник» так заводиться.

— Бежать мне надо. — Старик внезапно схватил Мишу за шею, проявив молодую силу. Захрипел в самое Мишино ухо, пригнув к себе его голову: — Когда у них пересменка будет, ты мне с пайкой перо передай, а дальше я сам.

И, ослабнув, отпал, тяжело дыша, от Мишиной шеи, будто насосавшийся клещ. Миша потер кожу, на которой краснели следы хватки.

— Давай сначала домоемся, а потом все остальное, — ласково попросил он, намазывая стариково плечо.

Под мыльной пеной проявилась бледно-голубая картинка. Старая, почти растворившаяся татуировка. Будто плоть пыталась рисунок собой разбавить, да не справилась. Пятиконечная звезда. От звезды широкий луч, поджаривающий корчащегося очкарика. И надпись: «Свет несет смерть врагам народа».

Миша потер буквы.

Оглушенный, он уложил Степана Васильевича в постель. Укрыл одеялом. Потушил лампу. Затворил дверь. Он не помнил, как проделал все это, не помнил, как оказался перед фотографией на стене. Степан Васильевич Свет. Молодой, моложе его, вопреки обычаю того времени смотреть вдаль, вопреки самому себе нынешнему, дед смотрел внуку прямо в глаза.

Трудно было отвести взгляд от этих глаз. Очень хотелось отвести, но не под силу.

От взгляда этого стало страшно. Захотелось проснуться. Очнуться. Глаза деда были с виду ничем не примечательны — веки, ресницы, зрачки. Но Мише показалось, что не в глаза человеческие он смотрит, а в дырки нужника, в звериные норы. Миша даже прикрыл глаза деда ладонью и стал внимательно разглядывать петлицы на воротнике, нарукавную нашивку. В углу петлиц — треугольник. Звездочка и полоса. Нашивка — меч и щит. Догадываясь обо всем, Миша все-таки порывлся в Сети и после недолгих поисков уже знал, что на момент фотографирования Степан Васильевич Свет был капитаном Народного комиссариата внутренних дел.

Вышел во двор, хлебнул из фляжки. Осенняя ночь, как навязчивая пьяная шлюха, полез-

ла под свитер, под брюки, принялась ласкать ледяными пальцами. Миша смотрел в темноту сада и видел изможденных доходяг, бредущих на прииски, видел, как кровь подследственных заливает листки признательных показаний, слышал вопли, звуки ударов, шипение папирос, вдавленных в кожу. Вырванные ногти материнова отца хрустели под ногами, ветви шуршали тысячами химических карандашей, строчащих доносы.

Он вспомнил книжки, учебники, мемуары, фотокарточки. Перед глазами вились цепи рабов, везущих тачки с грунтом, толпы мужчин и женщин в рудниках, на лесозаготовках, на стройках, во рвах братских могил. Вспомнил, как с гадким любопытством рассматривал рисунки, изображающие распространенные в то время пытки. Наивные, словно для детской книжки сделанные картинки, подкрепленные пояснениями, наглядно показывали, как следователи душили заключенных резиновыми мешками и подвешивали на дыбу.

А пытал ли дедушка? Истязал? Лампой в лицо светил, руки держал, яйца каблуками давил? Миша чувствовал себя отравленным. Зараженным. Будто все из набухшего отростка в него слили. Нельзя прооперировать, выле-

чить, отсесть. Ядовитая кровь в нем. Переливание не поможет.

Пробудившаяся в кабинете нотариуса ненависть, ослабленная недавней нежностью, подпитанная алкоголем, распрямилась, стала толкаться, стучать ножками, требуя выхода. В сердце ожили все невинно замученные, раздавленные, изничтоженные, втоптаные в пресловутую землю Колымы, какой бы каменной она ни была. Они орали, колотили мисками, скреблись корявыми пальцами, требуя возмездия.

Миша не мог простить, он желал убить всех. Доживающих стариков, потомков вырезать. Всех причастных. Осквернить памятники, снести здания-бастионы. Но не мог. А если бы мог, пытал бы бесконечно. И вождя их, которого мать ласково назвала преступником, товарища С, из могилы бы выкорчевал, оживил бы живой водой, пинками бы поднял: подъем, чувак, возмездие. Выходил бы его и волочил по тротуарам, площадям и канавам городов и деревень. А сам бы смотрел и вишневый компот ел из банки... Огонь невозможности вылизывал его изнутри.

Пропуск в рай решил купить своим домом гнилым. Вроде как доброе дело сделал, наслед-

ство определил. Раньше-то про своего внука единственного не вспоминал. Раньше не существовало ни Миши, ни его матери. А теперь, когда автоматчики за ним явились, так он его, Мишу, просит побег устроить...

Не станет он подарки из таких рук принимать. Не доберется бывший капитан НКВД до святого Петра. Или кто там на входе. Я стану его святым Петром здесь, на этом свете. К нотариусу больше не поеду, а ему выскажу все, пусть один подышает, зная, как я его презираю.

Нет... Глупо это. Дом, земля государству достанутся. Лучше я дом продам и сиротам пожертвую. Больным детям. Старикам одиноким. Нищим. Больным, нищим старикам-сиротам...

Миша — идеалист. Натура страстная. Никогда не переводил документов для компаний, которые, по его мнению, нарушали права неимущих, чья деятельность угрожала озоновому слою. Жертвовал на детский дом, после смерти матери два раза в месяц работал в больнице добровольцем — помогал ухаживать за умирающими. Он все принимал близко к сердцу, мог расплакаться от какой-нибудь военной кинохроники, котенка лишайного

молочком напоить, мусор упорно разделял, хоть все его пакетики со старыми газетами, пустыми склянками и органическими отходами бессовестно перемешивались глухими к проблемам экологии сотрудниками уборочных фирм.

Он, переводчик, который каждый день помогал людям найти общий язык, не мог перевести сам себе правду родного деда. Не мог принять деда, договориться с ним. С самим собой теперь не мог договориться.

На запинаящихся ногах вернулся в дом. Он плохо видел, хотя очки никуда с его носа не подевались. Если бы его спросили потом, почему он сделал то, что сделал, он бы не смог ответить. Он не принадлежал себе. Не различал цветов. Он видел только топор и дверь. Взял топор. Вошел в дверь. Щелкнул выключателем.

Невольно бросил взгляд в тот угол, где недавно стоял автоматчик-охранник.

По-прежнему табуретка.

Свет лампочки не потревожил старика. Тот лежал ровно, как Миша его уложил. Глаза оставались закрытыми, рот запал. Вот так, по ночам, они арестовывали людей. Брали кого в чем — в кальсонах, в ночных рубашках.

— Ты рассорил моих родителей из-за своего вождя. Слово «преступник» тебе не понравилось. Ты трус. Все вы трусы. Приканчивали людей, а семьям сообщали, что десять лет без права переписки. Ты даже перед смертью ссышь сказать мне, кто ты.

Миша стоял над своим дедом, беззащитным и маленьким, крепко сжимая топор.

Он занес топор.

Раскроить ему черепок.

Размозжить эту мышь.

Фанатика.

Навсегда избавить от ига.

Других избавить.

И самого себя.

Хотел.

Но не мог.

Знал, что не может.

Не сможет.

Но топор занес.

Хоть намерением насладиться...

Дед открыл глаза. И скосился на Мишу. Головы не повернул, скосился. Зрачки в углы глаз скатил. Это произошло так неожиданно, скошенные глаза вцепились так крепко, что спину Мише обдало ледяным снежком, затылок когти стянули. Нестерпимый ужас наполнил сердце.

Миша не мог отвести взгляда. Дед впервые с их встречи смотрел ему прямо в глаза. Стоя перед этой человеческой развалиной, перед ненавистным зловонным куском дряблой плоти, Миша чувствовал бессилие. Ладони, сжимающие топориче, взмокли. В глазах деда была власть, неподчинение. Презрение к Мише, к себе, к жизни и смерти. Презрение к Мишиной мечте убить его. Презрение к Мишиной нерешительности. И не оттого сила, что мускулы, не оттого власть, что полномочия, а от неверия и безразличия. Для деда он был сразу всеми очкариками, всеми умниками — троцкистами, вредителями-интеллигентами, которых он, Степан Васильевич, так легко сжигал своим светом.

Сколько Миша простоял, зачарованный взглядом старика, он потом точно определить не мог. Может, час простоял, а может, минуту. Дед закрыл глаза так же неожиданно, как и открыл. Миша почувствовал, будто его застали за чем-то очень-очень интимным, за кражей или за рукоблудием, застали, посмотрели, не говоря ни слова, и, заскучав, отвернулись. Дед застучал его, поиграл с ним и утратил интерес. Миша стоял оплеванный, руки, сжимающие топор, онемели. Из него выбили признание

без всяких пыток, он все подписал, товарищей оговорил.

Он больше не мог оставаться в комнате, но и сойти с места не мог. И действие, и бездействие были мучительны. С великим трудом он опустил топор. Руки не слушались, суставы заклинило. Сделал шаг, ступил из заколдованного круга, который незримо очертил вокруг него дед. Второй шаг. Третий. Лампочку за собой не потушил.

Выбежал во двор. Зубы стиснуты, лицо дергается. Задрал рукав на левой руке, взял топор в правую, вытянул левую, сжал кулак, занес топор...

Опустил топор.

Снова занес. Закусил губу. Зажмурился...

Открыл глаза. Поднес край топора к руке. Царапнул. Кровь выступила жгучим пунктиром, и он зашвырнул топор далеко в кусты.

Он долго бродил по саду, допил коньяк и, только когда совсем продрог, вернулся в дом. Растопил печь. Огонь плясал на старых поленьях, щекотал деревяшки, юркие огненные хвостики пролезали в самые потаенные щелочки. Огонь был, как взгляд деда, не было от него спасения. Жар из топки разморил Мишу, на рассвете он не заметил, как задремал.

Во сне он все так же сидел перед печью. Скользнув взглядом вверх, он заметил, что белка отслаивается, печь трескается. Из щели, которая на глазах расширялась, вилась струйка дыма. Миша заволновался, что они с дедом угорят. Стал метаться по комнате в поисках чего-нибудь, чем залепить щель, и, не найдя ничего, кроме куска яблочного пирога, стал замазывать прореху. Дым прекратил наполнять комнату, Миша с удовлетворением облизал сладкие пальцы и только собрался снова наслаждаться созерцанием огня, как его отвлек громкий звон. Обернувшись, он увидел, что оконная рама как была рухнула в сад. Прохлада наполнила комнату. Не успел он удивиться и огорчиться — с потолка на голову упал небольшой, но увесистый кусок штукатурки. Потирая место ушиба, Миша задрал было голову к потолку, но взгляд его наткнулся на фотографию на стене. У деда на портрете носом шла кровь. Черные червяки ползли из ноздрей через верхнюю губу на нижнюю, на подбородок. Кровь текла и текла. Гимнастерка на груди набрякла, дедовский взгляд стал еще острее, придавливал и гнул.

Миша очнулся рывком. В окно светило размытое осенней дымкой солнце. Он потянулся,

прикрыл ногой дверцу потухшей печи. Утро. На часах без десяти одиннадцать. Посмотрев на дверь в комнату деда, он вспомнил ночной порыв и усмехнулся. Чего только ночью не взбредет в голову. Да еще спьяну. Ночью можно наделать глупостей, не то что при дневном свете.

Он испытывал чувство обновления, какое бывает после разрешившегося нервного напряжения. Дом показался ему не таким, как накануне, он приготовил чай, подошел к дедовской двери, поднял согнутый палец — постучать. Подумал: надо бы сперва что-нибудь съесть, а потом уж стучать. Воспитанный внук позавтракал бы вместе с дедом, но Миша решил заморить червячка и уж тогда звать деда и поесть с ним основательно. На пустой желудок его терзал стыд за ночную выходку.

Он отрезал кружок колбасы. Съел. Ломтик сыру. Съел. Дожевывая, вернулся к заветной двери. Вкус пищи прибавил уверенности, он еще больше радовался, что ночью не надделал глупостей. Радовался, что вот так вдруг обрел близкого человека. При свете солнца родство с палачом не казалось ему отвратительным, скорее романтичным. Проглотив остатки колбасы и сыра, он уверенно постучал.

Дед не отозвался.

Миша постучал сильнее, позвал:

— Дед, завтракать будешь?

Вчерашнее мытье, татуировка и дальнейший замысел мести за всех невинно убиенных придавали Мише храбрости и даже развязности. Теперь он мог без запинки называть Степана Васильевича дедом, тыкать ему, позабыв всякую подчеркнутую вежливость, какую демонстрировал всего неделю назад, когда они познакомились.

Его вдруг осенило. Новым в этом утре был звук — тиканье часов. Покрытый слоем грязи старый будильник ожил. Стрелка-соломинка, дергаясь, отсчитывала секунды.

Удивившись прихотям механизма, Миша постучал снова и, не дождавшись ответа, решил войти без разрешения.

Степан Васильевич лежал на железной кровати в том же положении, в котором Миша оставил его ночью. Ненужный ночной горшок, желтый, с отбитой на блестящем боку эмалью, старомодная, с восковыми ручками, радиола, табуретка-автоматчик. Запах вроде исчез.

— Дед, — снова позвал Миша и тронул старика за плечо.

Тело деда было неживым. Миша это сразу понял. Не надо разбираться в мертвецах, чтобы, наткнувшись на мертвеца, опознать его.

Дед умел осадить Мишу. На этот раз он умер.

За прахом Миша смог приехать незадолго до закрытия крематория. Служительница просунула в окошко черный с латунной крышкой сосуд с сожженными головой, туловищем, ногами-руками, костями, ногтями, глазами и налитым отростком, торчащим в бок.

Дед оказался последним постоянным жителем деревни. Девяносто восемь лет. Проживет ли он столько? Миша решил было поискать семейную могилу, чтобы сразу закопать урну, но уже темнело и кладбище закрывали.

Он был не один, Катя вызвалась сопровождать. Обняв урну, как когда-то обнимал аквариум с рыбками из зоомагазина, Миша остановился у запертых ворот кладбища.

— В другой раз вернемся и похороним, — обнадежила Катя.

Миша мысленно согласился. Сожженной голове, костям, глазам и отростку не важно, когда их закопают.

— Поехали, наследство покажу.

И они отправились в сторону родовой развалюхи.

— Это он? — спросила Катя, разглядывая фотографию.

— Он.

— Вы с ним очень похожи. Особенно без очков. — Катя сняла с Мишиного носа очки. — Ну-ка встань к свету.

Миша, щурясь, встал под фотографией, повернулся к окну.

— Одно лицо. Только глаза... У тебя глаза... добрее, что ли. Сколько ему на этой фотографии?

— Двадцать семь — тридцать.

Катя вернула Мише очки.

— Признайся, ты заведешь любовницу после моей смерти?

— С чего ты взяла, что я тебя переживу?

— Если ты протянешь девяносто восемь лет, как он, тягаться с тобой будет сложновато. На чердаке уже был?

В ее голосе играло детское предвкушение открытий. Они полезли на чердак. Лампочки там не было, и Миша стал светить фонариком из телефона. Рассеянный луч выхватил старые, полуразинутые чемоданы, коричневый и красный, из них торчало тряпье. Чемоданы хотели сожрать барахло, да подавились и застыли с набитыми пастями.

Связки газет, велосипед без колеса, костыли, люстра, на стропилах — серые яблоки покинутых осами гнезд.

— Никаких сокровищ, — констатировал Миша.

— Не торопись. — Катя ковырнула носком сапога. — Посвети-ка сюда.

Среди мятых, изъеденных молью пиджаков и комков болоньевых плащей показался предмет строгой формы. Синяя фуражка с краповым околышем.

— Нет, говоришь, сокровищ?

Нашитый на доньшко фуражки ромбик носил поблекшую, вытравленную потом надпись: «Свет С. В.».

Катя нахлобучила фуражку Мише на голову.

— Ну-ка! — Она забрала фонарик, ослепила Мишу лучом. — Красавец! Будто на тебя! А мне как?

Сдернула фуражку с Миши, надела на себя. Фуражка села глубоко, по самые, цвета американских купюр, глаза. Катя подсветила свое лицо снизу, отчего оно стало по-цирковому жутким.

— Эй, ты! Фашист, враг народа, признавайся, готовил заговор против товарища Стали-

на и всего советского народа?! — Ткнула Мишу пальцем в грудь: — Говори!

Легонько шлепнула по щеке.

— Зачем имя изменил?

Шлепнула по другой щеке:

— Степа Свет... Мне нравится...

Катя сжала его лицо так, что рот сморщился трубочкой. Приблизилась.

Они коснулись друг друга губами. Фуражка упала им под ноги.

Катя вошла во вкус и, надвинув слегка растоптанную фуражку на глаза, принялась руководить:

— Эй, ты, фашист, натаскай-ка дров. Топить надо, ночи холодные.

Миша принялся возить дрова в тачке из сарая в дом. Это со стороны кажется, что возить в тачке груз — дело нетрудное, после двух полных тачек он заметно вспотел. Снял очки, положил на ступеньки.

— Не останавливаться. Как там... Труд есть дело чести, дело доблести... Тьфу! Доблести и геройства! — неожиданно проявила исторические познания Катя.

Пока Миша таскал, Катя распахнула окна, сгребла простыни с постели деда, мелкий мусор,

морщась, выволокла во двор и велела поджечь. Так принято. Костер был высокий и краткий.

После проветривания растопили печь, уселись перед огнем.

— Стены, кажется, крепкие, полы тоже, — топнула ногой Катя. — Добротный дом. Надо просто порядок навести и сделать мелкий ремонт. Но сначала все оформить. А то деньги вложим, и окажется, что документы не в порядке.

— Я тут думал, — подбирая слова, начала Миша. — Знаешь... хочу этот дом продать, а деньги какому-нибудь приюту перевести.

— Много не выручишь. А с чего вдруг?

— Можешь надо мной смеяться, но... мне как-то неприятно наследство от палача принимать. Я как бы его грехи на себя беру. Вроде как прощаю его. Вроде как преемственность... — Миша смутился и запутался.

— Мама родная, слова-то какие! Палач, грехи, преемственность! — рассмеялась Катя. — Какие грехи?

— Ну... ты же понимаешь.

— Это все только в твоей голове. У тебя просто богатое воображение. Это просто дом, который построил твой дед. Обычное наследство. Береги его, ремонтируй, поддерживай, потом детям оставишь. Нашим детям.

Раздался стук в дверь.

— Мне слышалось?

— Кто-то стучит.

— Кроме нас, в деревне никого.

— Пойду гляну. — Миша шагнул к двери.

— На, возьми на всякий случай, — Катя протянула ему кочергу.

Миша усмехнулся, но кочергу взял. Катя и не думала шутить, вооружилась ножом. Миша отпер дверь, ведущую из дома на веранду. Распахнул. В темных стеклах веранды отражался его силуэт и освещенная комната позади него. Из отражения на Мишу смотрел фотографический портрет деда, висящий у него за спиной.

Дождавшись, когда глаза привыкнут к темноте, Миша откинул крючок с остекленной ромбами двери веранды, шагнул в сад.

Моросило.

— Никого! — крикнул Миша. — Показалось.

Не поворачиваясь к саду спиной, Миша плотно закрыл дверь и накинул крючок. Торопливо, делая вид, что согревается быстрой ходьбой, вернулся в дом.

— Городским в деревне всегда что-то мерещится, — улыбнулся он, обняв Катю. — Значит, ты думаешь, ничего страшного, если я оставлю дом себе?

— Конечно, ничего страшного! — Катя смотрела ему в глаза. — Думаешь, дети расплачиваются за грехи отцов до седьмого колена? Он тебе никто, чужой человек. Он ведь так и не сказал, что он твой дед.

— Не сказал...

— Тогда о какой ответственности можно говорить? Он вообще как инопланетянин. НКВД, Сталин — это же прошлый век. Давай просто жить и радоваться. Только теперь у нас будет дом.

Несмотря на поздний час, они принялись фантазировать, измерили веревкой мебель и комнаты, думая, какую сделать перестановку.

— Сервант с веранды я бы выбросила.

— А я бы оставил. Выбрасывать будем только в крайнем случае. Знаешь, мне этот дом все больше нравится.

— Ну обои-то хоть обдерем?

— Давай прямо сейчас попробуем!

Было глубоко за полночь, когда острое отысканного в кустах топора поддело один из листов фанеры, которыми были оббиты бревенчатые стены.

Топор расширил шов. Гвозди взвыли, обои рыхло лопнули. Лист высотой с Катю хлопнул об пол. Волна воздуха опрокинула со стола

чашку. От края откололся зубчик. Три мыши кинулись в разные стороны. Они передвигались короткими перебежками, пытаясь сбить с толку людей.

Омерзение и страх. Знакомое чувство. Миша упал на стул, поджал ноги. Катя запрыгала, давя мышей. Ловко и быстро перебила всех.

— Что, Степан Васильевич, испугался? — улыбнулась Катя. — А дедушка твой, энкавэдэшник, не испугался бы.

— Он был сатрап, а я тонко чувствующий интеллигент, мышку убить не могу, — попытался пошутить Миша.

Они вымели труху мышиных гнезд, горсти черных семян, просыпавшихся из нутра стены. Выбросили трупики. Миша замыл кровавую слизь. Обнажившиеся сизые бревна хорошенько протерли.

— Жучок-древоточец, — поставила диагноз Катя, увидев бревна, испещренные множеством дырочек. — Очень трудно вывести.

— Может весь дом сожрать? — задумчиво поинтересовался Миша.

— Может. Но не волнуйся, он, скорее всего, сдох давно! — приободрила Катя.

— А если не сдох?

— Как бы это узнать...

— Надо сосчитать дырочки. Если появится новая, значит, жив, — предложил Миша.

Катя наполнила до половины два разномастных, найденных в серванте бокала.

— Ну, за Родину, за Сталина!

Ночью шел дождь. Струи то усиливались, то ослабевали. Мише не спалось. Кутаясь в старое одеяло, он поднялся на чердак. За мерным гудением дождя отчетливо слышалось падение капель на пол. Крыша текла. Миша принес тарелки, миски, поставил под течи. Холодная капля упала на лоб. Кап. Почему-то он задержался, не отошел. Новая капля. Еще одна. Забежала за шиворот, юркнула по спине.

Вспомнилась пытка, когда на голову методически капает вода. А все-таки пытал ли кого-нибудь его дед? Расстреливал?

Миша стоял под каплями. Шлепки о голову заслонили все звуки. Ручейки резво сбегали по вискам, затылку, за ушами на плечи. По спине и груди. Капли отсчитывали жизни. Раз, два, три. Жизни расстрелянных, жизни отправленных в лагеря, в детдомы, жизни сочинителей доносов, жизни дознавателей, конвоиров, жизни письменно отрекшихся от своих близ-

ких. Он продрог и спустился вниз. Пересекая залу, посмотрел на фотографию. Молодой капитан Свет изучал его пристальным взглядом.

Утром, когда Катя еще спала, Миша, бодрый и полный решимости, полез осматривать крышу. Ему не нравилось, что вода капает на пол, протекает на первый этаж, портит пол и потолок, стены и мебель. Он решил начать ремонт дома сам, сделать что-нибудь маленькое, но важное. Разузнав, что крышу можно замазать битумной мастикой, сгонял за пять километров в хозяйственный, подтащил к стене старую лестницу, приставил так, чтобы залезть сначала на крышу веранды, а с нее по доске с набитыми перекладинами вскарабкаться на один из двух основных скатов, туда, где предположительно треснул шифер.

Держа банку с мастикой в руке, он уверенно взобрался по лестнице, схватился за край крыши веранды, и тут лестница пошатнулась.

И встала на место.

Пустячная высота, но сердце дрогнуло.

Он осмотрелся. Голые сады сплетались и топорились. Дома, все больше черные, из некрашеного бревна, прятались под шифером и железом.

Попробовал прочность лесенки-доски, закрепленной на скате. Плашки-перекладины сгнили. Но если ступать аккуратно, избегая резких движений, то выдержат. Или не выдержат.

Стал карабкаться. Первая, вторая. Надо было мастику в сумку положить, а сумку на плечо. Чтобы обе руки были свободны. Штаниной зацепился за торчащий из шиферной волны гвоздь. Хотел переставить ногу, гвоздь рванул назад. Чуть не сдернул с крыши.

Осторожно высвободил ногу. Выше. Печная труба. Осыпавшийся кирпич. А вот и трещина. Ощупал. Осторожно достал из кармана кисть, сунул в черную гущу мастики. Хорошо, банку додумался еще внизу открыть.

Добравшись до конька, уселся верхом. Заброшенные поля, зарастающие березками. Сиреневый лес с желтыми всполохами кленов и зелеными ершами елок. Вдалеке массивный, поросший сухотравьем и кустарником купол церкви, упрямо прущей из-под земли огромным грибом.

Говорят, грибы являются отростками огромного разветвленного организма, распространяющегося под землей. Разве все остальное устроено не так же: лес, поле, плесень,

деревня, город, люди? Все это не самостоятельные явления, а лишь следствия чего-то единого. Следствия вещества, которое заполняет мир. Можно срубить лес, но однажды он вырастет снова. Можно разрушить города — они отстроятся, убить людей — они появятся вновь. Потому что до первопричины нельзя добраться. Первопричина содержится в каждой облачке воздуха, в каждой частице тверди, в каждом языке пламени, в каждой капле воды, в каждом глотке пустоты.

Он вдохнул влажный прохладный воздух. Надо вызвать мастеров, самому не справиться. Бросил испачканную кисть вниз. Бросил банку — мастика густая, не вытечет. Перекинул ногу через конек. Что-то выпало из кармана, съехало вниз. Телефон. Застрял на середине противоположного ската, в бархатных кляксах наростов и мхов, в сухих листьях.

Он сидел на коньке, смотрел на телефон и думал, что можно спуститься, взять швабру, подцепить телефон и затащить обратно наверх. Но длины швабры, скорее всего, не хватит. Можно поискать подходящую палку и спихнуть телефон вниз. И чтобы Катя ловила. Если не поймает, телефон разобьется о бе-

тонную дорожку, идущую вдоль дома. Можно переставить лестницу и попытаться достать телефон снизу.

Стал накрапывать дождь. Миша проверил, нет ли в карманах еще чего, полюбовался на даль и пополз вниз по скату за телефоном. Крыша была довольно покатой, шифер — шероховатым, удержаться несложно. Он прижимался к волнистому покрытию, царапался о торчащие гвозди. Вот и телефон.

Протянул руку, округлый корпус скользнул в пальцах, аппарат поехал по желобку вниз и вылетел с крыши. Донесся звук удара пластмассы о бетон. Звук сообщал, что телефон разлетелся на фрагменты.

Миша даже не чертыхался. Он прилип к крыше, боясь шевельнуться. На помощь звать не хотелось. Да и чем ему можно помочь... Подтащить лестницу? Катя не справится — лестница для нее тяжела. Позвать соседей? Вокруг никого.

— Эй, Степан Васильевич! — окликнула его Катя.

Отзываться или нет... Нельзя не отзываться.

— Я здесь, на крыше, — пробубнил он в шиферную волну. — Я здесь! На крыше! — крикнул он, стараясь не сильно отрывать голову.

— А я слышу, кто-то по крыше топает. Решила проверить, — донеслось снизу. — Помощь нужна?

— Нет-нет, все в порядке.

— Телефон какой-то валяется... Это же твой!

— Да, мой! — разозлился он.

Не шевелясь, он кое-как смог разглядеть внизу Катю. Она отошла от дома и теперь рассматривала его.

— Отсюда не скажешь, что у тебя все в порядке.

— А что ты можешь поделаться, — сдался он. — Ты же не Карлсон!

Он чувствовал, как тело неумолимо сползает вниз. Гвозди рвали одежду, царапали грудь и живот.

— Ты сейчас упадешь! — завопила Катя.

Он слышал, как она металась внизу. Бегала. Что бы подложить, подстелить?..

Он стал перебирать ногами, тщетно ища опору.

— Что же делать?! — донеслось снизу.

Обернувшись, он увидел копну ветвей росшей возле дома калины. Оттолкнулся от крыши, чтобы упасть в этот куст, а не на бетон дорожки. Закрыв глаза.

— Я тут в буфете мед нашла, — сообщила Катя, пододвигая к нему тарелку с медовыми сотами. — Не болит?

— Нормально. — Он стал кромсать соты ложкой и есть. — Меня в кружке самбо падать научили еще в детстве.

Лицо прочертили царапины. Бурели легкие ссадины. Падение обошлось для него много удачнее, чем для телефона. Ветки хлестнули, и бедром ударился. И локтем. Без переломов.

Катя сняла закипающий чайник с гнезда, не дождавшись, пока он отключится сам. Подлила в чашки. Поставила чайник на место. Опустевший неотключенный прибор зашипел, снова начав нагреваться.

— Выключать надо, сгорим. — Миша строго щелкнул кнопкой.

Он решил пожить в доме подольше. Сообщил начальству, что упал на тренировке, подозрение на перелом. Самочувствие же его, напротив, от свежего воздуха и загородной жизни только улучшилось.

Падение с крыши не погасило его тяги к преобразованию и благоустройству родового гнезда. Он решил сгрести сухие листья и пошел в сарай за граблями. Так... Что здесь? Сюда он еще не заглядывал. Лопаты, тяпки,

вилы, грабли. На полках жестянки с гвоздями. В углу старая газовая плита. Набрал и выдул воздух из длинного насоса. Взгляд упал на поперечную балку с намотанной на нее веревкой.

— Мое имущество, — сказал он, подпрыгнул и повис на балке. — Я Степан Васильевич Свет.

Он так бы и сидел безвылазно в своих новых владениях, если бы не Катя.

Они вышли на прогулку.

Справа деревня посредством затопленной, заросшей колеи переходила в неизбеженное, с торчащими тут и там молодыми деревцами поле, слева же — еще была отчасти под контролем человека. Именно слева сюда и вела полоса той бутристой, будто ходящей под ногами, земли, которая на картах означалась дорогой и одновременно единственной местной улицей. По этой улице Миша с Катей и решили пройти.

Подновленные домишки, принадлежавшие дачникам, были либо выкрашены в яркий цвет, либо одеты в пластик — сельские шмамы, прикинувшиеся в броские тряпки, чтобы сойти за городских. Большой же частью избы были черны и выпотрошены. У таких и крыши были содраны, и полы выворочены. Людей или другой какой живности не было.

Мишу привлек сгоревший дом. Вопреки Катиным уговорам не пачкаться и «не копать-ся в чужой помойке», он вскочил на невысокий приступок фундамента в том месте, где раньше находился порог, и заглянул внутрь. Коробка потрескавшихся, изъеденных пламенем бревен. Посмотришь на них, и слышно, как они хрустели в огне. Печка со съехавшей набекрень трубой. Горы проросших сорняка-ми шкварок людского быта. Спрыгнул туда, как в могилу. Ковырнул носком ботинка. Обрывок старой фотографии.

— Ну что у тебя там? — крикнула Катя.

Смел землю. Под разводами плесени угадывался портрет, от которого осталась одна только грудь. Мужчина. В форме. Ремешки, накладные карманы, блямба ордена Ленина.

Через планшетник Степан вошел в Сеть, обнаружил сообщества любителей исторической реконструкции. Мужчины и женщины разных возрастов наряжались в костюмы прошлого, в том числе в форму НКВД. Форму шили по сохранившимся образцам, купали костюмы после киносъемок, разыскивали сохранившиеся подлинные вещи. Здесь же, на страничке любителей старины, можно было заказать точ-

ную копию любого приглянувшегося наряда. Степан порыскал по каталогу и выбрал гимнастерку из серого коверкота. Серые носили вопреки положенным по уставу хаки. Заказал синие бриджи, ремень, португепю, черные сатиновые трусы, сорочку и настоящие старые хромовые сапоги коровьей кожи. Только фуражку не стал заказывать. Насчет сапог у Степана возникли сомнения, нельзя покупать обувь без примерки, но он решил рискнуть. Есть в этом и аттракцион, и лотерея, и каприз. Он давно не позволял себе существенных трат. Вот и развлечется.

В дверь позвонили. За окнами кромешная тьма, он дал Кате знак не шуметь, а сам тихо, стараясь не ступать на те доски, что скрипят, подкрался к двери. Степан понял — сделать вид, будто дома никого нет, не получится, гасить люстру поздно. Он не знал, как бы так посмотреть в глазок, чтобы тот, кто по ту сторону, видя в глазке сначала свет, а потом затемнение, не догадался, что на него смотрят.

И тут Степана охватил ужас. Он вспомнил, что никакого звонка здесь нет. Он сам, когда приехал впервые, стучался. Да и глазка никакого нет.

Он обернулся: Катя куда-то пропала. Неодолимое бремя придавило его к полу. Степан смотрел на дверь, на щель под ней. То, что звонило, было рядом. Здесь. Оно вычерпывало из него силы. Свет стал меркнуть. Оно высасывало свет. Степан почувствовал дыхание. Не затылком. И не лицом. А всем своим существом. Есть только одно спасение. Из последних сил он замотал головой, открыл глаза.

Вокруг была тьма. Щелчком выключателя Степан прогнал тьму из комнаты. Тьма смотрела на него черным окном.

— Кто звонил? — спросил он, чтобы услышать свой голос.

Катя перевернулась на другой бок.

Покупки доставили через несколько дней. Степан встретил курьера на станции. Раскошелся за доставку. Катя была в городе. Дома он нетерпеливо вскрыл пакеты, разглаживал ткань, нюхал кожу сапог.

Скинул одежду и облачился в новое. Непривычные железные пуговицы, скрипящий ремень. Правую ногу крепко обхватило ложе сапога, левая застряла в голенище. В приложенной рекомендации советовали смазать кожу касторкой или детским кремом. Среди

оставшихся в доме лекарств Степан нашел и касторку. Смазал. Отложил на два часа. Протопил печь, повалялся на кровати. Промасленный сапог стал податливее. Нога протиснулась. Степан притопнул. Надел фуражку и стоял теперь перед зеркалом, осматривая себя со всех сторон.

Форма сидела ладно, точь-в-точь как на дедушке. Косые карманы добавляли атлетизма торсу, бриджи удлинляли ноги. Через форму, особенно через негнущуюся кожу сапог, в Степана вошла новая сила. Сапогами можно притопывать, можно щелкать каблуками, можно пинать, поддевать, растирать. Сапоги изменили осанку, жесты, взгляд. Степан смотрел в зеркало и видел молодого капитана НКВД. Он тронул горло, забранное лычками с золотым треугольником, звездочкой и серебряной полосой. Только ордена Ленина не хватало. На фотографии у деда на груди слева — орден, но Степан нигде его не находил.

Степан снял очки, спрятал в карман. Надвинул козырек на глаза. Сдвинул фуражку на затылок. Во взгляде капитана блеснули никелированные ручки на дверцах воронок.

— Поступило донесение, что ты призывал к разрушению СССР. Это правда?

Степан сорвал фуражку с головы, прижал к груди.

— Товарищ начальник, меня оболгали, я не виноват, — прохныкал Миша и снова надел фуражку.

— Ты, гад, Родину продал. Со спецслужбами каких иностранных государств состоишь в контакте?

Комкая фуражку, Миша взмолился:

— Товарищ начальник, пожалейте, у меня жена, дочка в школу пошла.

Надел фуражку.

— От жены у нас донесение есть. Она тебя давно раскусила и обо всем честно нам написала. Об анекдотиках твоих поганых, о тлетворном влиянии на дочь.

— Что вы, товарищ начальник! Как можно!

— Ты враг, замаскировавшийся под честного гражданина. Призывал к свержению власти?

Степан ударил Мишу в подбородок. Миша упал на колени перед зеркалом, стал гладить зеркало, скрести ногтями.

— Товарищ начальник...

Еще удар.

— Я просто сказал, что у каждого человека свой внутренний закон...

Кулаком в скулу.

— Власть у нас одна!

В глаз.

— Власть рабочих...

По носу.

— ...и крестьян!

— А-а-а-а!!! — кричал Миша, пуская слюни.

— А-а-а-а!!! — ревел Степан.

Он стоял на коленях, тяжело дыша. Глаз саднило, губа вздулась. Из зеркала на Степана смотрел Степан Васильевич — фотография висела на противоположной стене. Блестящая латунная крышка урны поблескивала с буфета.

Посмеиваясь над собой, Степан поднялся на ноги, умылся и полез в холодильник за едой. Достал ветчину, черный хлеб, два сорта сыра, откупорил бутылку красного вина. Отрезал кусок хлеба. Отрезал ветчины и сыру. Налил вина в бокал. Поднес бокал ко рту.

Задумался. Отставил бокал. Отложил бутерброд. Собрал со стола всю еду и спрятал в холодильник. Перелил вино из бокала обратно в бутылку. На столе остался только кусок черного хлеба. Подержал хлеб в руках. Приложил к носу. Вдохнул. Откусил маленький кусочек и стал жевать — медленно, разминая языком крошки.

Вечером вернулась Катя.

— Ого, как ты нарядился! Вживаешься в образ? А с глазом что? С губой?

— Ударился, ты же меня знаешь, дальноречь, вижу только то, что вдали.

Сели за стол.

— Дождись, пока чайник сам выключится! — разозлился Степан на Катю, когда она в очередной раз схватила чайник, прежде чем он отключился автоматически. — Сколько можно, я его деду купил всего две недели назад, дом спалишь!

Степан схватил бутылку воды, шумно наполнил чайник, грохнул его в гнездо. Не попал, долбанул еще раз, и еще, прежде чем смог насадить чайник на контактный штырь.

— Не психуй.

— Я не психую! Сколько повторять — дождись, когда он отключится!

— Посмотри лучше журналы. Специально взяла. Что люди со старыми домами делают. Старые чемоданчики, абажурчики. Сейчас модно. — Катя обняла его голову. Зашептала: — Не поеду в Лондон. Тут останусь. С тобой. Будем дом ремонтировать. Детей рожать.

Степан стерпел ее нежность. Перевернул нехотя несколько толстых, лоснящихся глянец страниц.

– Давай помечтаем, как мы тут все устроим. – Катя тронула Степана за руку.

– Почему нельзя просто так посидеть, не давая мне никаких заданий?

– Какие задания? Я просто хочу подумать о чем-нибудь хорошем, когда осень, когда тоска, стены эти вокруг гнилые, вонь повсюду!

– Не нравится – чего тогда тут сидишь?

– Сама не знаю. Дура потому что.

– Езжай в свой Лондон! Не знаю... Езжай. Там веселее. Мне надо подумать. Не знаю! Не знаю! Ничего не понимаю, ничего!!!

Степан выскочил из-за стола, убежал в сад.

Катя уехала. Ночью Степан стоял на крыльце, курил найденные на кухне папиросы и смотрел на желтый месяц. Папиросы хоть и выдохлись, но сохранили достаточно крепости, чтобы у некурящего закружилась голова.

Почему вдруг люди стали доносить, арестовывать, казнить? Как? Зачем? Натерпелась? Захотелось побуяннить? Истины вековые осточертели? Хотел бы он на кого-нибудь донести, кого-нибудь казнить? Одноклассника, который однажды побил его при девчонках, выкрутил руку, и он не смог сопротивляться. Плакал. А все смотрели. Потом помирились, но если

бы шанс выдался... Сантехника, установившего бракованный кран, соседей залило, пришлось оплатить ремонт. Ну и этих, конечно, палачей. И вишенки сладкие из банки ложечкой вылавливать.

Почему сильные герои войн, бесстрашные солдаты, расписывались в самых нелепых грехах? Их застали врасплох. Они – обласканные государством, орденоносцы, хозяева красивых квартир, дач, передовики, партийцы – загордились. Поверили в правила. А если во что-то веришь, тебя можно сломать. Веришь в героизм – значит, выдержишь пытки. Но не выдержишь унижений. Такому можно все ногти повывергать, все зубы повывбивать – и он устоит, но достаточно поставить его на колени и насать в лицо – все, наш окровавленный гордец сломлен. Выдерживаешь и пытки, и унижения, но, узнав, что жена тебя оговорила, а сын попросил расстрелять папу как врага, сдаешься. Вера в справедливость, благородство, в честь подкашивает. Любовь предает. Надежда лишает сил. Все сдадут – жена, дети, собака, домработница. Бог, которому служишь, и тот ножик в спину сунет. Только пустота не предаст, только на отсутствие смысла можно положиться.

А подписал бы он абсурдные показания? Признался бы в бредовых, несовершеннолетних деяниях? Шпион английской, японской, германской, американской разведок. Замышлял убийство генералиссимуса. Планировал покушения на маршалов, академиков, балерин. Минировал заводы и электростанции. Подсыпал яд в комбикорм и воду, разрушал плотины, поджигал лес...

Степан стал есть один черный хлеб, одевался только в гимнастерку и бриджи, обуви никакой, кроме сапог. Стал пить водку. Целыми днями разбирал вещи, документы, книги, фотографии.

Вот дед с бабушкой и с мальчиком в матроске. Отец, маленький. Вот они на фоне озера. Или пруда. Вот отец в выпускном классе. Вот он студент в пиджаке и рубашке с воротником апаш, «на картошке» в болоньевом плаще и кепке.

Обнаружил копию недавнего завещания. А орден Ленина так и не нашелся.

Степан читал все новые и новые страницы о тюрьмах, рассказы о лагерях. Перечитывал абсурдные обвинения, вглядывался в неразборчивые строчки признаний. Пытал дед кого-нибудь или нет? Мучил? Истязал?

Степан снял урну с буфета. Потряс.

— Гасил окурки о тела?

Приложил ухо к урне.

— Сапогами пинал? Пистолетом бил? Да или нет?

Подержал сосуд в руках и швырнул в угол. Жесть глухо стукнула и откатилась. Да или нет, да или нет?! Вопрос свербел в голове, жужжал, скребся, колотил в дверь и окна, горбился под полом, топотал по потолку, сотрясал стены.

Связь то и дело рвалась. Планшетник завис. Степан тыкал пальцем. Никакого отклика. Ударил ладонью. Тщетно. Грохнул о пол.

— Издеваешься надо мной?! Сука! — Степан пнул погасший гаджет.

Растоптал жидкокристаллические останки. Попытался закурить. Долго не мог высечь огонь из зажигалки. Когда втянул дым, голова затуманилась. Сознание отлетело и вернулось.

А ведь у него были принципы. У Степана Васильевича. У настоящего Степана Васильевича. Мать брякнула: «Сталин — преступник», — все, она больше для него не существовала. Это называется убеждения. Идеалы. Вера. А он, Степан, Миша, во что он верит? Какие у него идеалы? За какие слова он мог бы вычеркнуть из жизни беременную невестку?

Нет у него идеалов. «Не знаю! Не знаю!» — орал он Кате. Этим и вышвырнул ее.

Не знаю... Нацепил чужие тряпки, а веры не обрел. Ни перед кем не благоговеет, никого не уважает, ни на кого не молится. Все ставит под сомнение, над всем подтрунивает, посмеивается. Усишки нотариуса ему не по нраву, чекисты ему не угодили, крепышей на рыбалке он презирает. А сам он кто? За что готов на смерть? За правду? Какая правда... Истина? Истины нет. За терпимость, демократические выборы, свободу слова, свободу вероисповедания?.. После двух-трех ночей допросов у дедушки родного любой отказ бы подписал. Да просто после суток в одиночке с сально блестящими стенами цвета гороха, с парашей на пьедестале-мавзолее под самым потолком, с откидными железными нарами, поднятыми днем и ночью, сдался бы. Ужас бессилия, раздавленности, забытости всеми, ужас запертости в микроскопическом отсеке, ужас подвластности сам бы справился. Никаких побоев не надо, достаточно его собственного, живущего в нем страха.

Часы надменно тикали. Свет осенил разум. Степан глубоко затынулся и всадил окурочек себе в кадык.

Крик заглушил шипение.

Отбросил погасший окурок, схватил полиэтиленовый пакет и на голову. И ручки на шею затянул.

Кислород кончился быстро. Рот конвульсивно хватал остатки воздуха, затягивал полиэтилен. Степан почувствовал, как что-то придавливает его, гнет к полу. Судороги. Вот и все...

Руки сами сорвали пакет. Проклятые руки.

Степан схватил топор. Хлопнул левую ладонь о стол. И обухом по пальцам.

Волоча боль за собой, бросился в сарай. Передвинул газовую плиту под балку с веревкой. Стянул сапоги. Босыми ногами на холодный грунт. Без сапог сразу почувствовал себя безропотным, подвластным. Влез на плиту. Один конец веревки завязал на балке, другим, помогая зубами, стянул себе запястья. Переступил через связанные руки, оставил их за спиной и прыгнул с плиты.

Самодельная дыба крутанула плечи. В плечах оборвалось. Показалось, что кожа лопнула, жилы лопнули. Он висел, касаясь земли кончиками пальцев ног — балерун, исполняющий партию мученика.

— Простите меня, простите за моего деда!.. Как больно, больно-о-о, простите!..

Слезы высохли, раскаяние иссякло, и Степан осознал реальность. Он, бывший Миша Глушецкий, ныне Степан Свет, пойдя на поводу у своей впечатлительной натуры и в состоянии алкогольного опьянения, подвесил сам себя в сарае для граблей и лопат. Никто не знает, что с ним случилось. Никто не может.

Вечерело. Холод усиливался. Ночью будет минус.

Плечи горели, плечи дергало, в плечах стреляло. Адова вязальщица сматывала его вены и сосуды в клубок. Занемевшей ногой Степан нащупал плиту позади себя. Оперся о ручку духовки. Подскочил. Боль в вывихнутых плечах сбила его с плиты.

От боли замутило. Боль окутала плотным саваном. Снова попытлся, пытаясь залезть на плиту. Тщетно. Боли стало так много, что она перестала существовать. Ничего не осталось, кроме боли. А значит, и ее самой не стало. Боль пропала, но выбраться Степан не мог.

Он скулил. Потом выл. Рычал. Пыхтел. Кричал. Проклинал затянутый им самим узел.

На стенке напротив были наклеены вырванные из журналов фотографии знаменитостей — сейчас старые, выцветшие. Катрин

Денев, София Лорен, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Гагарин, Адриано Челентано. Группы «Бони Эм» и «АББА». Президент Кеннеди с супругой Жаклин. Лица плыли, смешивались перед глазами. В одной блондинке, кормящей ребенка, Степан узнал мать. Слабо обрадовался.

— Мама?

— Да, мой хороший.

— Мама, что случилось?

— Какая разница, сынок. Все давно мертвы. И палачи, и жертвы. Как ты только додумался такое с собой сделать?

— Я хотел понять его. Попросить за него прощения.

— И как, понял?

— У него была вера, а я сомневаюсь...

— Сынок, сомневающиеся люди милосердны, а те, у кого вера, — фанатики. А с извинениями ты, может, и поспешил, не все в НКВД были злодеи. Сколько историй про порядочных людей. И судили не всегда невиновных. Заговорщиков хватало, бунтовщиков, ненадежных. Возможно, он никого не истязал. Может, даже спасал. А если и досталось кому, то за дело. И вообще, люди просто работали, выполняли поставленные задачи.

— Нашелся мученик! — встрял гнусавый возглас. — Хочешь кровь чужую с себя смыть, с дедули своего душегуба?

Пацан с густыми усами порноактера, стоящий рядом с Бельмондо, перекачивал сигарету из одного угла рта в другой.

— Отец?

Пацан сплюнул.

— Че те вообще известно о справедливости, о понятиях? Ты кем себя возомнил? Решаешь, что хорошо, а что нет? Добро от зла отделяешь? Осуждаешь, оправдываешь. Ты че, прокурор? Искупить вздумал, чистеньким стать, душу спасти?

— Правда в том, что ты, Миша-Степа Свет, страдаешь себе в удовольствие, — произнес новый голос.

Степа повернул глаза и увидел лыбящегося капитана в наглаженной, ладно сидящей форме.

— Твоя жизнь пресна. Ты ходишь за умирающими не из жалости, а чтобы очнуться и жить. Но тебе этого мало. Ты толстокожий. Как и я. Тебе нужны эмоции по сильнее. Ты и сам изувер порядочный, да только кишка тонка! Я хотя бы осмелился! Твоя боль нужна только тебе. Скоро ударит мороз, и к завтраш-

нему вечеру ты издохнешь. А послезавтра не воскреснешь. Ты слабак. Мне, Степану Васильевичу, не ровня. Я таких, как окурки, давил!

Мать повернулась к капитану Свету и посмотрела на него так, будто между ними что-то было, и только они знают об этом. Капитан ей подмигнул. А отец захохотал, и папироса на его нижней губе тряслась.

— Папа, папочка... зачем ты оставил меня..

Блеклые лица с журнальных страниц кричали, вопили, визжали. Доходяги в телогрейках, с впалыми щеками стучали кирками, холеные жены лагерных начальников, все, как одна, с лицами Жаклин Кеннеди, сладостно отдавались блатным в переполненных трюмах, сытые, невыспавшиеся следователи, похожие на Алена Делона, хлопали ладонями по столам, Софии Лорен в обтягивающих платьях валили деревья, с верхних нар скалились беззубые, изуродованные, состарившиеся дети. Мать делала неприличные движения языком, ребенок у нее на руках уродливо морщил личико, дед издавал ртом пукающие звуки, отец выкидывал коленца в каком-то дурацком танце. Все они требовали от Степана, потешались над Степаном, тыкали в Степана кривыми пальцами и культами.

Что-то блеснуло между дверной притолокой и стеной. Из последних сил Степан натянул веревку, на пуантах сделал шаг к двери.

Орден Ленина.

За доску притолоки был засунут орден Ленина. Так в нагрудный кармашек швейцарам чаевые засовывают.

Степан задышал часто. Размял ноги как мог. Упираясь ими в поперечные бруски на стенах, в полки, в старые ящики, стал лезть. Срывался и лез. На землю сыпались инструменты, гвозди, садовый инвентарь. Веревка ослабла, растянулась. Удалось спиной перевалить через балку.

Упав на плиту, он не ощутил удара. Лежал, тяжело дыша, смотрел на вздувшиеся кисти и пальцы, не поверил, что они — часть его. Вздувшиеся пальцы и есть он. Вспомнил, как мать делала вино из черноплодки и надевала на бутылку резиновую перчатку. Вино считалось готовым, когда перчатка «вставала». Кисти рук очень походили на «вставшие» перчатки. Стоило большого труда поднять руки ко рту. Укусами распотрошил узел. Глубокие бордовые борозды оплели запястья.

— Как хорошо... как же хорошо это было...

Он мял пальцы, грел во рту. Заставил пальцы ожить. Поддерживая одну руку другой, нащупал орден. Вытащить не получалось, железка засела крепко. Тогда он вырвал орден из дощатого зажима граблями.

Потребовалось время, чтобы прорвать гимнастерку, вставить штифт и закрутить прижимную гайку. Сунув кое-как сапоги под мышку, Степан доплелся до дома. Остановился перед фотографией. Посмотрелся. И увидел свое отражение.

Несколько дней он отлеживался. Плечи опухли, боль не проходила. Он перестал думать о Кате, без телефона и планшета связь прервалась. Он грыз сухие макароны, жевал хлеб, ел сахар, разводил муку водой. Однажды утром, лежа на диване, скатил зрачки в углы глаз, скопился на стену. На ту часть стены, с которой они с Катей сорвали фанеру. Под одной дырочкой в бревне набежала свежая дорожка трухи.

Степан взял топор. Едва окрепшими руками поддел фанеру в гостиной. Сорвал лист. Мыши кинулись врассыпную. Одна замешкалась возле его сапога. Маленькое тельце трепетало, головка вертелась. Степан осторож-

но, чтобы не раздавить, переступил через мышь, подошел вплотную к стене — бревна были сильно изъедены. Степан смотрел на дырочки, на переваренную жучком древесину. Он надел фуражку, заправил пилу бензином и вытянулся по стойке «смирно» перед фотографией.

— Борьба с внутренним врагом обостряется. Пора с ним кончать! Есть!

Степан Васильевич Свет отдал честь, завел пилу. Мотор взревел. Степан Васильевич Свет примерился и направил бегущую острую цепь на пораженное бревно. В лицо ударил фонтан стружки. Удерживать пилу было трудно, руки болели, но Степан Васильевич Свет упорствовал. Сощурившись, он навалился на пилу. Запахло жженой древесиной. Бревно упиралось. Пила застревала, глохла. Степан Васильевич Свет не отступал.

Чтобы изъять из стены одно бревно, надо выпилить два, ведь в каждом бревне есть паз, в который вложено последующее. Наконец пила прошла стену насквозь. Пробившийся в прорезь луч рассек ночь. Вторая прорезь — второй луч. Степан Васильевич толкнул бревно ногой. После второго удара полуметровые бревна вывалились под кусты калины. Степан

Васильевич сам едва не упал. Холодная ночь стала просовывать свои щупальца навстречу свету и быстро залезла сама. Степан Васильевич вышел во двор и осмотрел бревна:

— То-то же, не будешь теперь мой дом жрать!

Степан Васильевич Свет распилил бревна на части. Боль в руках его подзадоривала. Кое-как расколол чурбаки. Отнес свежие дрова в дом. Скомкал валяющуюся на столе бумагу, копию завещания. Ломая спички непослушными пальцами, растопил печь. Бумага вспыхнула, как вампирское сердце. Сухое дерево горело охотно, с готовностью, сухое дерево истосковалось по огню.

— Нравится огонек, вредитель?

Степан Васильевич Свет оглянулся на фотографию. Степан Васильевич Свет смотрел с одобрением.

Степан Васильевич Свет натолкал в топку побольше дров и снова взял в руки пилу.

— Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход... — С песней на устах Степан Васильевич выпиливал пораженные куски бревен. — Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!

Бревна с дырочками на оголенных участках стен закончились, и он стал топором сры-
вать оставшуюся фанеру.

Обе спальни и зала с кухней заполнились мусором и опрокинутой мебелью. Под сапогами хрустели стекло и фарфор.

Степан Васильевич Свет забыл о времени, боли, усталости. Он рвал со стен фанеру, пилил, колол и загонял в топку свежие чурбаки. Если бы ночь знала, сколько новых отверстий появится в стенах, она бы не торопилась протискиваться в то первое, узкое, в два бревнышка. Теперь ночь свободно плескалась в доме, а свет хозяйничал у нее в тылу.

Пот заливал глаза, лицо облепила древесная пыль. Степан Васильевич Свет пилил до рассвета. Пилил и жег. В стенах появилось множество дыр, будто в доме поселился огромный червяк.

Степан Васильевич устал и сел отдохнуть. Он увидел урну со Степаном Васильевичем, она так и валялась в углу. Степан Васильевич взвесил урну в руках, поставил на пол. Взял топор. Примерился.

Топор соскочил с округлой крышки и вонзился в пол рядом с сапогом Степана Васильевича. Урна со Степаном Васильевичем отскочила.

Степан Васильевич расплющил крышку урны обухом. Вторым ударом разрубил. Топор застрял в жестяной скорлупе. Степан Васильевич высыпался из разлома.

Степан Васильевич располовинил урну. Разметал ногой Степана Васильевича. Степан Васильевич частично забился в щели между досками.

Степан Васильевич почувствовал постороннее движение под носом. Тронул верхнюю губу — кровь. Текло из обеих ноздрей. Степан Васильевич умылся из ведра и сел, запрокинув голову. Пока сидел, смотрел в глаза фотографии на стене.

Степан Васильевич Свет снял фотографию, вырвал из рамы.

Степан Васильевич Свет расцеловал Степана Васильевича Света. По-русски. Три раза.

— Я понял.

Острием ножа выскреб один глаз. Другой.

— Я прощаю.

Скрутил фотографию в трубочку. Сунул концом в огонь.

И залюбовался лоскутом пламени.

Огонь наступал, оставляя за собой черную рассыпающуюся кромку. Огонь подбирался к ослепленному Степану Васильевичу.

Степан Васильевич поднес Степана Васильевича к тюлевой занавеске. Огонь переметнулся со Степана Васильевича и проворным котенком побежал вверх по ткани.

Степан Васильевич бросил догорающего Степана Васильевича в корзинку с лучинами.

Положил фуражку на стол.

Свинтил с груди орден и сунул за наличник над дверью.

Уселся на ступени.

Стянул сапоги. Сначала тугой левый, затем свободный правый.

Сошел со ступеней.

Часы тикали в спину.

Бетонную дорожку вокруг дома укрывал густой слой опилок. Окно, вокруг которого был выпилен участок стены, висело в воздухе.

Не верить в любовь, но любить. Не цепляться за веру, но верить. Однажды он не сможет открыть глаза, и тогда тьма охватит его, войдет в него, станет им.

Посыпал снег. С ветки упало коричневое яблоко.



Она всех достала своими звонками. Давайте встретимся, давайте встретимся. А всем неохота. Зачем встречаться? Скука. Спросите, неужели не было светлых моментов? Были. Помню, в цирк ходили, всем классом. Потому и согласился. А еще из жалости, уж очень она настаивала. Теперь сидим втроем: я, она и первая страхолюдина класса. Остальные под разными предложениями слились. Или просто мобильники отключили. Я тоже у своего звук вырубил, чтоб жена не доставала. Не люблю, если жена выясняет, где я. Какой-то детский сад получается. Я же просто с одноклассниками пошел повидаться, ничего запрещенного.

Сидим, короче, любовный треугольник. Подростком я слезами обливался, страдая по нашей первой красавице, письма ей писал и не отправлял, а страхолюдина по мне сохла,

а я над ней издевался всячески. И было над чем. Да и сейчас есть. Мой сосед по парте, назовем его товарищ Сталин, уткой ее обзывал. А у нее уже второй муж, между прочим, и детей не сосчитать. И теперь эта утка хлещет мартини, наверное, чтоб сексуальнее стать, и на меня поглядывает. Нарощенные ногти, замужество и коктейль придают женщине уверенности.

Красавица и сейчас, пятнадцать лет спустя, ничего. Высокая, губастая, фигура, волосы, голос, бриллиантики в ушах. Глаза как машинное масло – густо-зеленые с золотом. Начала с фотографий своей дочки. Достала мобильный, а там фотографии. В сапожках, в платице, на маскараде. Пришлось листать. Было время, она повсюду папку собственных изображений таскала, тоже приходилось разглядывать, она тогда в модели стремилась. Но бедра расширились так, что ни в какие модели с такими бедрами не берут. С такой жопой ей придется лет сто подождать, пока критерии подиумной красоты не изменятся. Сижую, будто на утреннике в школе для дебилов – надо вроде улыбаться, а не хочется.

Страхолюдина уже четвертый стакан заказала. А платить кто будет? Ладно, сижую ровно,

помалкиваю. Тут красавица, перебрав в памяти все «светлые моменты», которых раз, два и обчелся, перешла к вопросам: «А у тебя как?» Это она страхолюдине. А та ей: «Так я уже рассказала, просто ты не слушала!»

Тут я мальчишку с цветами и увидел. Благо сидели за уличным столиком. Подозвал пацана, и он обеим моим спутницам по букетику вручил. От моего имени. Содрал, правда, гад, втридорога. Пришлось платить, кто ж перед бабами торговаться станет.

Букетики девочек расслабили. Они даже помолодели, хотя какие наши годы. А красавица и вовсе хихикнула: «Ты до сих пор в меня влюблен?» Я хмыкнул, а страхолюдина пятый заказ сделала. Красавица меж тем совсем разошлась, букетик ее нехило подзадорил, поехали танцевать, говорит. Поехали.

Двести до «Солянки».

Потоптались в очереди. Королева наша начала даже сомневаться, что мы пройдем. Я мечтал, чтобы страхолюдину отсекли. Но заносчивый дохляк на входе впустил всех.

Букеты и сумочки сдали в гардероб. Поднялись. Народу — кот наплакал. Самое начало вечера. А может, место из моды вышло, пока мы выросли и начали стареть. Так и понима-

ешь, что стал папочкой. Не по наличию деток, не по плечи и плохому стояку, а потому, что перестаешь быть в теме.

Пристроились у бара. Страхолюдина клювом своим утиным повела и в мою руку когтями разрисованными вцепилась. У нее это, наверное, называется сексуальным поведением. Вроде как я от этого завестись должен. Да я и девственником от такой херни не заводился.

— Я угощаю! — разинула клюв страхолюдина.

Широкий жест. Спасибо, конечно. Валяй, если охота.

Красавица улыбнулась почему-то виновато и тоже согласилась.

Выпиваем, осматриваемся. Чувство, будто родственники из провинции приперлись и ты обязан их выгуливать. Долгие паузы, никаких общих тем.

Думаю уже, как бы слиться незаметно. Проверяю телефон — жена не звонила. Тоже небось где-нибудь шляется. И тут к нашей красавице какой-то дрищ подваливает, моденький такой, узкие «правильные» брючки, пиджачок «правильного» цвета, купленный в каком-нибудь невъебенно «правильном»

магазинчике, очки тоже «правильные». И вот он весь из себя с места в карьер давай петушиться. С барменом шуточкой перекинулся, ладошкой по барменской лапе шлепнул, типа — «дай пять». С барменами только хвастливые ублюдки треплются, типа, они тут завсегдатаи, свои в доску. Бармены таких презирают, подыгрывают ради чаевых, а потом руки моют с мылом. Я-то знаю, проработал месяц в одном кабаке, пока не турнули за неучтивость с посетителями.

Гляньте, она уже с ним вовсю болтает, орет что-то в ухо, хоть музыка еще не очень громкая, вполне можно нормально разговаривать, не облизывая барабанную перепонку собеседника.

Обидно стало. Стрельнул у страхолюдины «Вог» с ментолом. Шатнуло после первой затяжки, юность-то, видать, еще не кончилась. Плевать, с кем она болтает. У меня к ней никаких чувств, но у нас тут святое! Встреча одноклассников, а она первым попавшимся лощеным модником увлеклась.

Помню, выхожу из школы, вижу, она одна идет, толпы поклонников почему-то рядом в тот день не оказалось. Я тогда как раз стал о смысле жизни задумываться, портвейн

в подъезде, бессонные ночи. И вот смотрю ей вслед и понимаю, вот он — смысл жизни. Она уже порядочно отошла, улица пустая была, далеко видно. Я следом. Догнал, отдышаться не могу. «Хочу тебя проводить», — сказал. А она улыбнулась так, будто я какой-то чудак, и в то же время таинственно, и сказала: «Давай». И мы пошли рядом. Помню, я все дыхание не мог успокоить, а она под ноги смотрела. Я даже не сразу догадался помочь ей тащить модный рюкзачок. Сейчас и не поймешь, почему все от нее балдели, сейчас она просто красивая баба, а тогда — сплошное умопомрачение. Я совсем осмелел и стал ее и в другие дни провожать. И гулять позвал. В парке возле ее дома. Довольно густой парк. К самой реке спускается.

Весна дыхла зеленым, и ее дыхание задержалось в ветвях. Пели птички, деревья, выкрашенные понизу белым, выстроились, как школьницы на линейке, природа трепыхалась от восторга. Хотелось громко хохотать и вытворять что-нибудь бестолковое. Хотелось раствориться в запахе скамеек и мокрой коры, превратиться в старую кирпичную стену, в железную крышу, в жирную землю, в блеск на асфальте. Мы купили бутылку какого-то пойла из

отборных сортов винограда и шли по дорожкам, передавая ее друг другу.

Напряжение нарастало, и на половине бутылки я спросил: «Можно я тебя поцелую?» — и засмеялся слишком громко. А она сначала на меня посмотрела внимательно, а потом тоже засмеялась. И тогда я совсем уж громко засмеялся. И все умолкнуть не мог.

Когда допили, я зашвырнул бутылку далеко в реку. Меня в детстве папа учил гранаты метать. Пока мама в доме отдыха была, он мне на даче ямку выкопал, окопчик и бутылку туда навалил — кидай не хочю. Стена сарая была вражеским танком, а я, зарывшись в бутылки в своем окопчике, регулярно останавливал наступление. Мама это дело пресекла. Наехала на папашу покруче «Тигра», поставки боеприпасов резко сократились, пришлось собирать осколки, натянув грубые рукавицы. Маман всколыхнуло не то, что папаша под это дело резко увеличил потребление, и не то, что осколки «гранат» летят на грядки, а то, что я милитаристом расту. В любом случае уроки даром не прошли, бросок удался. Если бы по реке в тот момент плыл фашистский танк, я бы его подорвал с первой гранаты.

Бутылка выскочила из волны горлышком вверх и поплыла в сторону Черного моря. Я стоял, опустив совершенно лишние теперь руки, смотрел вслед бутылке и хотел провалиться сквозь землю.

Тут меня кто-то тронул нежно, смотрю — она. Лицо свое к моему приближает. Я расстояние и приложенное усилие не рассчитал, с размаху стукнулся зубами о ее зубы, стал тыкаться носом, глаза закрыл, естественно. Короче, первый поцелуй. Оказалось, что бухать и метать гранаты намного проще.

Неопытность моя, однако, не была встречена насмешками. Красавица меня не оттолкнула, только скривилась немного — я ей губу прищемил. Но кочевряжиться не стала, улыбнулась, видно было, ей приятно. К тому моменту я глаза уже приоткрыл и мог ими смотреть. Понял, что мне позволено двигаться дальше, и прильнул нежнее.

В тот день я научился целоваться. Минут за пять, максимум десять. Все было именно так, как я представлял. Будто я до этого только и делал, что целовался, а не гранаты метал. Забродившие сорта винограда тоже свою роль сыграли. Я быстро осмелел, был и страстным, и нежным, и напористым, и уступчивым, и ка-

ким пожелаете. С того дня ничего нового я про поцелуи не усвоил.

Дальше нечто невероятное началось. Все весна, птички эти со своими лужеными глотками, отборные сорта винограда. Обнявшись, мы углубились в заросли, которые как раз начали зеленеть, углубились и упали в прошлогоднюю листву, сухую траву и волшебный мир жучков и муравьишек. Они тоже проявляли сезонную активность и радовались весне. Мы устроили бедолагам настоящий апокалипсис. Катались по земле, обхватив друг друга, стискивая и срывая одежду. Помню, я уже вовсю присосался к ее прекрасным сисечкам и вообще вел себя заправски, по крайней мере, мне так в тот момент казалось, отщелкнул, не без труда, верхнюю джинсовую пуговку, и тут она на меня как навалится.

Я не сразу понял, что это обморок. Довольно тяжелая оказалась. Хотя грудь могла бы быть и побольше. Всем весом осела и лежит.

А меня на ржач проперло. Между глотками мы еще дудку взорвали, мой сосед по парте, товарищ Сталин, как раз употреблять и распространять начал, в основном употреблять, и презентовал мне кое-что из своего ассортимента. Это дело у меня хранилось для особого случая. Вот он, собственно, особый случай.

И вот я ржу и богиню мою по щекам шлепаю и на щеки ей плюю. Вспомнил, что в ситуации обмороков людей смачивают. Вот и плюю. А плевки бордовые. Я чуть со страху не помер, подумал, чахотка. Меня как раз Чехова заставили за прошлый год пересдавать.

Тут милая моя очнулась, таращится, озирается, лицо утирает. А я ржу, не могу остановиться. А она как блеванет. Жучкам и муравьишкам тяжело в тот день пришлось. Я тогда еще не знал, что девочкам волосы держать принято в таких случаях. В общем, я полюбил ее еще больше. Аж захотел ею стать, так полюбил. Некоторые мужики бабами хотят стать по другим причинам, а я только от совершенного восхищения предметом моего сердца.

— Мне домой в таком виде нельзя. Мать убьет, — ее первые слова, когда утерлась.

— Пошли ко мне. У меня никого, — предложил я и сам удивился — у меня дома никого, а я девчонку по грязи валяю.

Папаша, со времен обучения меня метанию гранат, тяги к романтизму не утратил, а скорее напротив. Бутылки уже девать было некуда, и маман выселила его в гараж. Или папаша сам отселился. Обоюдно, короче. Утеплил гараж своими руками, установил электрическое

отопление, биотуалет, стены вагончиком обшил и назвал это своей мастерской. Не знаю, что он там мастерил, я никаких поделок ни разу не видел. Маман, правда, намекала на каких-то баб, которых папаша в гараж якобы водит, и что поделки, вполне конкретные, могут однажды заверещать у нас под дверью, и она с этими его поделками нянчиться не собирается. Не знаю, что и как, но папаша подолгу жывал в своем убежище, опустошал бутылки и вел дискуссии абстрактного характера с такими же романтиками из соседних гаражей. Машины, кстати, у него никогда не было.

Тогда как раз был период, когда папаша созерцал пробуждение природы. Это происходило или в самом гараже, или в компании с другими мужиками, на площадке перед гаражами или за гаражами. Так что папашиного появления в квартире можно было не опасаться. Маман же была в командировке на медицинской конференции, она у меня венеролог, хорошие бабки, между прочим.

Мы пришли. Я предложил красавице душ и под звуки льющейся воды стал порхать по кухне, приготавливая чай. Она вышла ко мне с нежно-зеленым лицом, по-весеннему прекрасным. Мы пили крепкий чай, говорили

о родителях, о том, куда будем поступать. Она рассказала, как отец купил подержанный «мерс» с люком и они поехали на реку и люк открыли. Пока ехали, пошел дождь, а люк заело. И им пришлось надуть матрас и держать его над головами, чтобы хоть на головы не лило. Батя у нее тогда крутой был, блестящий пиджак носил, а однажды его по каналу нашего округа показывали, он там что-то плел про открытые и закрытые акционерные общества.

Мы смотрели телик, сидя на диване. Я никогда больше ни с кем телик так не смотрел. А если и смотрел, то не помню. А потом я поцеловал ее, и она ответила мне, глаза ее были закрыты, а губы искали мои губы. И я стал возиться с ее лифчиком, а она запустила руки мне под рубашку. И снова ее грудь и пуговка на джинсах. И тут она такая:

- Нет.
- Что случилось?
- Я не могу.
- Почему?
- Ну не могу.
- А что такое?
- Не могу, и все!

Я не стал настаивать, хотя испытывал то, что называют глубоким разочарованием.

А она, наоборот, взбодрилась, вскочила и стала бегать по комнате, делая спортивные упражнения, играя своими прелестными сисечками.

— Хорошо, что у меня светлые соски! Темные — некрасиво.

Я не стал спорить. Никаких других сосков, кроме сосков маман, когда я по ошибке вошел в незапертую ванную, я вживую, вот так близко, не видел. Те тоже, надо сказать, были светлые.

— Ты что, расстроился? — Она растормошила меня, стащила с дивана, заставила вместе с ней плясать.

Я двигался, как деревянный, она прикрикнула, что я могу обижаться, сколько мне хочется, что это мое дело.

Я сказал, что не обижаюсь, просто танцевать неохота.

Танцевать на самом деле хотелось, но я чувствовал облом и не желал показывать, что меня вот так можно обломать, а потом легко переключить на хиханьки да хаханьки.

— Ладно, мне пора, — сказала она, вдоволь набесившись.

— Я тебя провожу.

Она жила с другой стороны реки, и мы пошли по мосту. Мост предназначался для по-

ездов, но были дорожки и для пешеходов. Мы почти пересекли мост, когда она меня спросила, мог бы я ради нее прыгнуть.

— В воду?

Она рассмеялась. Конечно, в воду. С моста в воду. Прямо сейчас. Но я вижу, что не прыгнешь. Если бы мог, то не стал бы переспрашивать, а сразу бы прыгнул.

Я вскочил на серую каменную тумбу с выбитыми цифрами «1907», но красавица обхватила мои ноги и прижалась к моим ногам лицом. Некоторое время мы так стояли. Довольно долго, мимо успел проехать старенький локомотив с одним вагоном. Проехал и погудел.

Я соскочил с тумбы злой.

— Я мог бы прыгнуть!

— Я знаю.

— Ничего ты не знаешь! Я мог бы прыгнуть, ты меня остановила!

— Я знаю.

— Что ты знаешь?!

После того дня мы продолжали встречаться. Забывали на подготовку к выпускным и вступительным, слонялись, держась за руки. Отовсюду перла сирень, и голова шла кругом. Казалось бы, домов и гаражей везде понатыкано, а сирень все равно нашла лазейки. Хо-

роший все-таки месяц май, жаль, короткий, могли бы хоть недельку накинуть.

Весна, а следом и лето способствовали нашей страсти. На школьных дискотеках по пятницам мы официально считались парой, но страхолюдина еще отчаянно приглашала меня на медляки, и я величественно терпел ее объятия. Когда же товарищ Сталин отпуская по ее поводу очередную шуточку, я смеялся, потому что Сталин шутил всегда смешно.

Скоро, недели за две до экзаменов, я вообще забил на школу, ходил только на дискотеки. Мать орала, отец вернулся из гаража и угрожал, что я стану асоциальным элементом. Товарищ Сталин, который к тому времени успел порядочно раскрутиться, взял меня в дело. Он брал оптом у Арсена, а я доставлял знакомым во дворе и на всем районе. Многие покупали для близких и родственников, и я быстро накопил и на школьный аттестат, и на поступление. Не ради себя — чтоб родичи успокоились. Сам не пойму, откуда у меня тогда взялась деловая хватка, с тех пор она больше не проявлялась.

Свидания продолжались, я рвал ей цветы, потом яблоки. Она закрывала глаза во время продолжительных поцелуев, которые стали

уже до того продолжительными, что мы едва не засыпали. Я предпринял еще несколько попыток и неизменно встречал отказ. Беспричинное воздержание и первая любовь сводили меня с ума, с наступлением осенних холодов я стал не на шутку злиться на всех вокруг. Первый курс меня не радовал, будь я склонен к суициду, сунул бы голову в петлю, но я по самоубийствам никогда не подрубался. Товарищ Сталин, встретив меня однажды, посетовал на то, что я вышел из бизнеса, а лучшего помощника у него с тех пор не было, дело верняк, товар улетает, только успевай считать лавэ, менты в теме, никакого палева, а что это с тобой такое?

Я рассказал, что не ладится с нашей общей любимицей, чертыхался, матерился по-юношески избыточно и даже признался, что она мне не дает. Товарищ Сталин, надо сказать, был одним из тех, точнее — единственным, кто чарам красавицы нашей никогда не поддавался, посмеивался над остальными, подмечал ее прыщи, ноги «иксом» и маленькую грудь. Выслушав меня, он велел следовать за ним.

Мы сели в его «бэxu». Отъехали недалеко, закатали во двор. Дело было вечером в ноябре, в свете фар на капот полезли, словно

зомби, девицы различной степени подержанности. Сходство с зомби, кстати, мне пришло в голову не из-за их уродства, а по причине нижней подсветки фарами и скученности. Опустив стекло с моей стороны, Сталин стал по-свойски болтать с их управляющей, шутить, справляться о делах. И как ему это удавалось?

— Новые девочки есть, рекомендую. Алина, Галя, пойдите сюда, — подозвала «мамочка» двух потупивших глаза, прижавших сумочки к животам, ногастых малолеток. Из-за длинных тонких ног и маленьких туловищ они напоминали смешных дачных паучков.

— Как тебе? — поинтересовался Сталин.

Я постеснялся обсуждать девушек прямо при них. Они были о'кей, но уж больно напоминали мою неприступную красавицу.

— Помясистее хочешь? — догадалась «мамочка».

Не успел я согласиться или возразить, как тонконогие удокали прочь, и перед нами возникли дородные светловолосые сестры, причем одна из них была в каких-то особо «умных» очках, отчего у меня сразу встал.

Вечер удался, все читали мои мысли, понимали без слов. Устроив сестер, кем бы они друг другу ни приходились, на заднем сиденье,

мы покатили в гостиницу Академии наук. Хорошее было местечко. С почасовой оплатой.

Я выбрал очкастую, уже тогда на умных тянуло. Это она первой из шлюх похвалила мои губы, после того как я, вопреки негласному запрету, поцеловал ее. Деваха даже лифчик сняла, так я ей понравился. Соски темные, обалденный цвет. Если в такой цвет тачки красить, расхватывать будут любые драндулеты.

— Ты что, девственник? — спросила она, положив голову мне на грудь после стремительного первого раза.

Сердце стучало где-то в затылке. Кровать качалась, рядом товарищ Сталин уже в двадцать пятой позе драл вторую сестричку.

— Нет, — сишло ответил я, надеясь, что Сталин не услышит.

Та ночь принесла облегчение и тревогу. Я стал страдать и мучиться, что изменил своей любви. Любовь моя, однако, продолжала держать оборону, и неизвестно, сколько бы это тянулось, если бы однажды вечером я не решил встретить мою прекрасную даму перед дверьми ее института иностранных языков, куда она, как все хорошие девочки без жизненного плана, поступила. Я сидел на скамейке,

поглядывая в сторону дверей, ожидая, когда появится она, моя любовь.

Она появилась. Под ручку с неизвестным мне молодым человеком в щегольских очочках. Меня не заметила, очень была увлечена поцелуем со своим спутником и села в его «Ладу» шестой модели. Он ей дверцу открыл. Чистенький такой, в брючках, очочки «умные», как у моей первой. Я вскочил с лавки. Бухнулся обратно. Снова вскочил. «Так, — скажу, — это... ты кто такой... что за дела...» Надо быть вальяжным, не показывать негодования и бешенства, надо быть циничным и решительным, надо...

— Ты чего тут? — удивилась она мне.

— Я?

Я, желанный ребенок, не привык быть досадной помехой.

— Я?

— Ты.

— Сюрприз хотел, хотел сделать, сделать.

Слова двоились. Едва сдержался, чтобы не ударить самого себя по губам.

Она улыбнулась. Очкарик перегнулся через нее, опершись по-хозяйски о ее коленку:

— Здравсте.

Он завел мотор, «Лада» шестой модели отъехала от бордюра, и мне казалось, что ав-

томобиль взял меня на буксир, а вместо троса прицепил мои кишки и теперь разматывает их, а когда они натянутся, потащит меня следом, и буду я волочиться, пока все внутренности мои не вырвет и не скачусь я в кювет пустым футляром.

Музыку сделали громче, гостей прибавилось. Значит, местечко еще не сдохло. Дрищ этот «правильный» потащил мою первую любовь танцевать, и стали они вертеться и тереться, страхолюдина утконосная начала притопывать и ко мне сиськами прислоняться. В общем, вечер пятницы. Только бы жена не позвонила, наору на нее ни за что ни про что.

— Я пойду, — сказал я и двинулся к выходу.

— Я с тобой, — всполошилась пьяненькая страхолюдина.

Надо было молча валить. Втихаря. Как английские лорды валят. Спустились. Страхолюдина сумочку из гардероба забрала и свой букетик. А лакей ей оба сует.

— Это не мой! — отказалась от второго страхолюдина.

Я взял букетик моей первой любви и под взглядом страхолюдины, выражающим «это

щас што было, я не поняла», вышел вон из этого чертова модного клуба, чтоб он сгорел.

— А зачем ты ее букет забрал? — нагнала меня страхолюдина.

Страшная баба — это ничего, но страшная и тупая... Я шел мимо очереди желающих попасть внутрь, следом ковыляла, спотыкаясь, моя дыхательница, и мне было ужасно стыдно, что мы вместе и она меня окликает. Тут она еще и громыхнулась. Довольно тихо упала. Бум, и все. Пришлось поднимать. Кое-кто в очереди, кажется, прыснул. Страхолюдина повисла на мне, теперь хрен вырвешься.

Я сказал, что поймаю ей такси, а сам пройду. Не тут-то было. Заявила, что желает подышать воздухом вместе со мной. Пришлось тащиться по тротуару. Асфальт, каменные дома, черное небо. Никакой перспективы. Затолкнул ее в первое кафе. Посидим немного, и я смоюсь незаметно.

Местечко оказалось веселым. Не просто кафе, а скорее кафе-бар. Утром посиделки мамаш с дитяи, вечером вертеп. Моя чувырла заказала пивка. Я присоединился.

— О чем ты думаешь? — спросила она, сделав глоток.

Началось... Меня жена постоянно спрашивает, о чем я думаю. А я думаю только о бабах. Но жене ведь не скажешь. Вот я и сочиняю: мол, так, ни о чем конкретном, много мыслей одновременно... Из-за этого жена считает, что у меня постоянный туман в башке.

Не успел я ответить привычное «да так, ни о чем конкретном», как чувырла принялась меня лапать. Руку на ширинку положила и сжимает. Умело, надо заметить. Не как тисками и не в стиле «монахиня-тихоня», а ровно так, как надо. Мой организм, конечно, откликнулся. Я, само собой, люблю умом, мозгами, сердцем, но когда на ширинку ложится умелая ручка, то оказывается, что ум, мозги и сердце как раз под ширинкой и расположены. Одноклассница продолжала свои вульгарные действия, я не протестовал.

— Пошли в тубзик. Хочу на него посмотреть.

Я немного разволновался, как бы жена не позвонила, и вообще, люди вокруг. Но пошел.

Вы никогда не замечали, что стандартная туалетная кабинка маловата для двоих? Тесно вдвоем в туалетной кабинке. Наверное, проектировщики туалетных кабинок предполагают, что в туалетной кабинке только один человек

должен находиться. Вот залезли бы они сами вдвоем в такую кабинку, я бы на них посмотрел. Когда же перед одним из этих двоих выпирают необъятные, как автомобильные подушки безопасности, сиськи, теснота становится невыносимой. Сиськи у страхолюдины оказались завидные. Но слишком их было много.

Она проявила недюжинные организаторские способности. Велела мне взобраться на толчок. Я бы ни за что не догадался. В последнее время все чаще замечаю, что у женщин котелок варит лучше.

Я не из тех, кто с ногами на унитаз залезает, поэтому открыл много нового. Стенки унитаза оказались скользкими и тонкими. Пока на них не встаешь, они кажутся вполне пригодными, а встанешь — тонкие. Я кое-как вскарабкался, балансирую, башкой потолок подпираю. Прямо титан сортирный. А страхолюдина принялась меня рассматривать, заурчала и засопела, аж ноздри задрожали.

Я забыл, что собирался только показать. Я стал трогать ее губы, раздвигать ее губы, приподнимать губы, за которыми влажные зубы и язык розовый. В глазах ее были покорность и рвение, как у гончей, изнемогающей

в ожидании команды «ату». И цепкость охотничья была в ее глазах.

Я прижал ее голову к себе, стал возить ее лицом по себе, размазывать ее по себе, помаду, тушь, румяна. Тут она поймала меня, вобрала, и стало горячо. Только бы жена не позвонила.

На стене прямо передо мной помимо иконки висел белый ящичек с дыркой. «Камера слежения», — подумал я и скорчил рожу. Я ж современный, для меня любая дырка — камера. Надеюсь, охранник-извращенец, привыкший подрачивать на женщин, делающих пи-пи, навсегда потеряет охоту к своей грязной потехе, увидев, что его вотчину захватили великаны ростом под потолок.

Страхолюдина проявила неожиданный талант. Не тратила время на тупое кокетство, стыдливое лизание и идиотское игривое поглядывание снизу вверх. Зубами не скребла, не отвлекалась. Короче, не строила принцессу, которая, видите ли, дарит свое тело — настоящую обитель наслаждения. Дело делала методично и с отдачей. Мне даже не пришлось лететь в страну грез. Что ни говори, а физическое уродство заставляет женщину собраться.

Прижужжала жирная муха. Муха садилась то на меня, то на страхолюдину. Но на меня чаще. Наверное, я дерьмо.

Прикосновения мухи оказались довольно неприятными, да и мало ли на что она до этого садилась. Тут муха приземлилась страхолюдине на макушку. На ум пришел американский президент Обама. Оказавшись в похожей ситуации, в смысле, что муха летала перед его носом, Обама взял да и прихлопнул ее. Президент выступал на телевидении, и промах мог бы навсегда опозорить Белый дом и демократическую партию. Я тоже был перед камерой.

— Ну, все. Хватит, — улыбнулась мне снизу страхолюдина.

— Что?

— Хватит, говорю. Пошли чай пить.

— Как — хватит?

А она хихикнула. Отомстила, сучка, за школьные годы. Врагу не пожелаешь.

Смотрю, муха снова села ей на темечко. И я как хлопну. Букетом. Я его все это время в кулаке сжимал.

Тут из камеры слежения прыснуло.

Прямо мне в глаз.

Ящичек с дыркой оказался запрограммированной помпой с ароматизатором.

Муха осыпалась на пол сухим цветочком, а я съехал ногами в толчок. Посмотрел бы я на Обаму, окажись он на моем месте.

Она пошла рот чайком полоскать, а я, склонившись над раковиной, стал плескать на глаз, пока не перестало щипать. А когда перестало, решил продезинфицировать хозяйство на всякий случай. Пробыло на чистоту. Ноги и так мокрые, чего их мыть, есть детали и поважнее. Выгрузил в раковину и принялся бережно намывать.

В тот момент, когда я уже собрался приступить к программе «ополаскивание», дверь запахнулась и мне явилась какая-то дамочка. Которая оказалась очень крикливой.

Мы со страхолюдиной нежно попрощались, сказав, не сговариваясь, что надо чаще встречаться, а то потеряли друг друга из виду, а ведь десять лет вместе отучились, лучшие годы бок о бок провели.

Ее такси отчалило, и я побрел вдоль домов, помахивая букетом. Умные говорят, время никуда не двигается, прошлого и будущего нет, но я не согласен. У меня жена, пять пломб, седые волосы, мертвецы. Товарищ Сталин перешел на тяжелые внутривенные, подвели поставщики, приняли ППС-ники, повесился в СИЗО. Я, когда родичей навещаю, вижу иногда его мать, тетю Таню, на лавочке сидит, меня не всегда узнает. Нет, время не стоит на месте.

А ведь я так и не сказал ей ни разу, что люблю.

Оказался недалеко от той гостиницы. Пойду посмотрю. Пошел. Только смотреть уже не на что. Снесли гостиницу. А нового ничего не построили. Пустырь, трава сквозь щебень пробивается.

В кармане завибрировало. Наверняка жена. Не жена.

— Меня никогда так не унижали!

— А что такое?

Неужели «правильный» этот успел ей в душу плюнуть?

— Мало того, что ты ушел. Это ладно...

А голос пьянящий.

— Мало того, что ты ушел, а я в гардеробе спрашиваю, где мой букет, а мне говорят, молодой человек забрал. Я никогда, ты слышишь?..

— Слышу.

— Меня никогда так не унижали. Ты подлец!

Я расправил плечи. Всегда мечтал быть подлецом.

— Приезжай ко мне.

Моя первая любовь была облачена в какую-то хламиду и разговаривала громким, хриплым шепотом.

Родители, с которыми она жила в той же, что и в пору нашей обоюдной нежности, квартире, были на даче, дочка спала в бабушкиной комнате. Пока там жила бабушка, комната считалась ее, а когда бабушка умерла, комната стала детской. Но я ее по старинке считаю бабушкиной. Тот же ковер на стене, та же полированная стенка, люстра с висюльками. Интересно, носит ли все еще ее папаша блестящий пиджак. Вряд ли.

Оказалось, клубный модник проводил мою прелесть до дверей, а когда она отказалась его впустить, попытался отыметь прямо на лестнице. Соседка из квартиры напротив на шум вышла.

— Никогда меня так не унижали.

Я подарил ей букет вторично. Стебли слегка размесило в ладони, а многие бутоны бесследно исчезли, но зато от чистого сердца.

Сели на диван. Допили одну бутылку, открыли другую.

— Что у тебя с глазом? — Она придвинулась вплотную и взгляделась в мой обрызганный глаз.

Я ее и хапнул крепко. Высвободилась. Стала фотографии дочери показывать. На этот раз отпечатанные на бумаге и вложенные

в прозрачные карманы толстого альбома. Когда пошел третий альбом, я притянул ее лицо и поцеловал.

Какая же она красивая! Глаза такие, что рехнуться можно, в глубине что-то колыхается, и расцветка очень богатая. Губы слегка вспухшие, так и хочется. Голос волнующий. Волосы густые, роскошными волнами. Сиськи подросли.

Долгий поцелуй.

Полез в недра ее хламиды.

— Нам не надо этого делать...

Отстранилась и смотрит на меня строго. И когда она протрезветь успела?

Дальше фотки листаем. Кончились. И выпивка кончилась.

Принялись за чай.

Я ей колено погладил, она руку мою отвела.

Начали смешные ролики в Сети смотреть. Подходящее занятие для мужчины и женщины, оставшихся ночью наедине.

— Знаешь, некоторые мечты не сбываются.

Я посмотрел на нее вопросительно.

— Я всегда мечтала встретиться с Майклом Джексонном. Я знала, что это однажды случится. Верила. Должно же быть что-то хорошее. Не сбываются? Это мы посмотрим.

Я сжал ее загривок, придвинул. Глаза ее потемнели. Я прижал верткое лицо к губам. Бриллиантик в ухе тихо звякнул о мои зубы.

А потом вогнал так, что она сразу перестала ерепениться.

Лава и мякоть.

Лицо у нее было такое, будто я в нее финку всадил – удивление и восторг. Глаза задрожали, заблестели, и веки покрыли их. Попросила только не торопиться.

А потом ко мне все приблизилось.

И отдалилось.

И подернулось туманом.

И вновь обрело резкость.

А она разбросалась вся, а лицо спрятала.

Я натянул болтавшиеся на одной ноге джинсы и вышел.

И сразу вернулся.

– Я люблю тебя, – сказал я и окончательно покинул помещение.

Букет на этот раз оставил.

Вдали громыхала ушедшая гроза, небесные грузовики ссыпали булыжники. Мокрые кусты клонились набрякшими цветами к земле. Казалось, они сейчас возьмут да и отряхнутся, как испувавшиеся собаки. Разум дурманили за-

пахи жвачки и холодного компота. В каждом закоулке, под каждым кустом собралась тьма. Хотелось плакать, смеяться и бежать куда-то. Хотелось перестать быть человеком, оставить одежду, ключи, мобильник, раствориться в запахе цветов, скамеек и мокрой коры, превратиться в напитавшуюся влагой старую кирпичную стену, в железную крышу, в черную землю, в блеск на мокрых камнях. Легкими шагами я спустился к мосту.

Вскарabкался на каменную тумбу с цифрой «1907», поглядел вниз. Черная река уходила вперед мерцающим хвостом. Справа напoлзал парк, слева выстроились дома. Впереди, над самым центром, как бы огонь, как бы заря.

В кармане зазвонило. Природа в истоме смотрела на меня из-под вуали первой листвы.

Телефон звонил и звонил. Зелень, дома и заря колыхались в черной воде. Что я тут делаю? Боюсь, время меня обманет, проживу жизнь и пропущу все самое важное. В одном уверен — Майкла Джексона я точно однажды повстречаяю.

Звук оборвался.

Я постоял еще, зажмурился и прыгнул в зелень, дома и зарю. Зелень, дома и заря разлетелись брызгами, долбанули в ноздри, заби-

ли уши, задрали веки, брызнули в рот. Стало смешно и грустно, и, выныривая из мира русалок и рыб-мутантов, я смеялся и плакал, как эмо.

Вот бы сейчас позвонила жена, спросила, где я и когда буду. Но телефон намок. И надо выбираться, пока Царь Морской не позвонил.

Выплюнув зелень, дома и зарю, я стал грести к ступенькам набережной.



– Лишнего пригласительного не найдется? – бросился наперерез старик в кроличьей шапке.

– У меня только один.

Старик покорно отступил. Припорошенный, перед тяжелыми бронзовыми дверьми, асфальт чернел следами обуви. Я потянул створку, прошел. Так деловито, не теряя достоинства, не глаза по сторонам, торопятся те, у кого есть именной пригласительный. Швейцары, увидев плотную тисненую бумажку, расступились.

Две гардеробщицы перебирали имена знаменитостей, скинувших здесь пальто и шубы. Дирижер явился, артист – вот он, только известного писателя-сатирика никак не могли досчитаться.

– Может, не пришел? – отчаялась одна.

– Пришел, пришел, он каждый год приходит, – настаивала ее собеседница.

– Он всегда у директора раздевается, – веско произнесла третья гардеробщица, выждавшая критического момента спора, чтобы поднять свой авторитет демонстрацией тайного знания.

Мельком, стараясь не выдать самолюбования, на ходу кося глазом, я оглядел свое отражение в зеркальной стене и легко взбежал по роскошной мраморной лестнице, что в свете тысячеваттной люстры переливалась терракотой, ржавчиной и рубином с золотыми искрами. Взлетел на самый верх, где из высоких, до потолка, резных дверей зала с колоннами доносился гомон публики.

В зале происходило вручение премии, учрежденной французским фондом содействия культуре за пределами великой Франции. Среди лауреатов мой отец, литературный переводчик, которого следовало поздравить. Кроме того, я планировал закусить на фуршете. Угощение обещало быть утонченным и разнообразным, но не обильным. Все-таки французы.

Просторный зал ослепил. Свет лился из ламп, искрился в хрустале люстр, вихрился

в бронзовых завитках капителей, тонул в крыльях ангелов, облепивших нежно-голубой портик. Свет летел на диковинные цветы, распускающиеся на своде, и, одурманенный, свергался вниз, на плечи и прически гостей. Многовато, прямо скажем, этого света. Я люблю полумрак.

Зажмурившись и поморгав, я почувствовал себя на задах потешной русской армии во время игровой постановки Бородинского сражения. Передо мной двумя каре чернели спины зрителей, точно войска генерала Тучкова, на сцене полукругом расселись лауреаты – авангард четвертого пехотного корпуса Богарне. Звуки струнного квартета, расположившегося на сцене в противоположном от лауреатов углу, усиливали атмосферу удалого праздника. Музыка, впрочем, была не боевая, да и какой бой мог здесь разразиться? Лауреаты известны заранее, в зале почетные гости, знакомые и родственники. Пение двух скрипок, виолончели и арфы навевало думы о Золотом веке, о различных изяществах, о бесконечных парках, где кусты и деревья обстрижены под шары и пирамиды. В таких парках всегда теплый июньский вечер и за каждым фигурным кустом прячется муза. Достаточно только

встряхнуть куст, и муза с озорным хохотом побежит прочь, сверкая голыми ногами и блудливо оглядываясь.

Когда музыканты утомонились и покинули сцену, на их место вошла сухощавая дама, похожая одновременно на вяленую бастурму и анатомическую гипсовую фигуру-экорше, изображающую человека без кожи. Дама оказалась, разумеется, французенкой и, разумеется, левачкой. Почему разумеется? А где вы видели дородных, румяных левых? Дородные всегда либо правые, либо аполитичны. Обнаружив сносное знание русского языка, произнеся неизменное французско-русское «здрздуйте» с ударением на «е», дама позволила себе несколько слов о великой русской культуре и важной роли французского фонда в ее поддержании на плаву и всяческой стимуляции. Тепло отозвавшись о лауреатах, иссушенная ораторша не удержалась и продемонстрировала-таки свою левизну, упомянув отдельно чеченца.

— Я горжусь, все сотрудники нашего фонда гордятся... — Показалось даже, что дама собралась добавить, будто вся прогрессивная Франция, а заодно и человечество тоже гордятся, но по какой-то причине не добавила.

— Мы все гордимся, что сегодня среди лауреатов есть чечен! — со слезой на вечносухих глазах провозгласила дама.

По-французски «чечен» означает, собственно, «чеченец». По-русски «чечен» тоже «чеченец», но с душком. Есть в слове «чечен» федеральное высокомерие по отношению к маленькому свободолюбивому народу, окрики с блокпостов, рев БТРов, стук копыт конницы генерала Ермолова гудит в этом слове. Попахивает словцо сожженным селом Самашки и танками в Грозном, ох попахивает.

«Чеченец, чеченец», — колыхнулось по залу, пробежало верхами, по головам и было выброшено на сцену. Известный кинорежиссер из лауреатов подобрал поправочку и поднес услужливо.

— Чеченец! — исправилась француженка в микрофон и закрепила: — Чеченец!

Злополучный уроженец беспокойной республики, вальяжно расположившийся в центре лауреатского полумесяца, вытянув ноги в белых туфлях, благосклонно кивнул круглой головой, поросшей короткими и длинными волосами. Короткие покрывали лицо, длинные — темечко. Чем этот чечен отличился, какая из муз ему отдалась, я так и не понял. Музыкант

ли он был, поэт или философ? Это и не акцентировалось, видимо, для французского фонда в первую очередь важна была принадлежность лауреата к народу, пострадавшему от кремлевской деспотии и русского варварства.

Раздались отдельные хлопки, перешедшие в бурную овацию: публика в тот вечер была настроена благожелательно и аплодировала с готовностью всякому, пускай даже чеченцу, просто за то, что он чеченец.

Я взгляделся в лауреатов. Упомянутый кинорежиссер быстро смотрел по сторонам, его глазки бегали резвыми мышками, ищущими, в какую бы щель пролезть, а тонкие губки смыкались и размыкались, точно лапки счетчика банкнот. Все эти некрупные детали были столь примечательны, что заметить их можно было с любого конца зала, который, впрочем, не был огромным. Заметить можно было и много чего еще. Например, то, что один уважаемый театральный критик, сидящий рядом с супругой, перекидывается выразительными взглядами с парочкой хихикающих девиц, а неизвестная широкой публике женщина интеллигентного вида то и дело утирает нос краем повязанной на шею шелковой косынки с надписью «Tallinn».

Рядом с режиссером ерзал на стуле молодой человек с лицом красным и перебаламученным, будто только что очнулся от тяжелого сна и теперь удивлялся, как это он сюда угодил. Заспанности молодому человеку добавлял торчащий из головы вихор. По левую руку от чеченца расположилась простоволосая, скромно и безвкусно одетая женщина одного возраста с ораторшей и скорее всего одних с нею взглядов. Бедностью облика, нелепостью наряда, неухоженностью волос, заношенными сапогами, которые она старательно прятала под подол тусклой шерстяной юбки, женщина эта подтверждала, что левые идеи в азиатской стране России не пользуются ни популярностью, ни коммерческим спросом.

Полукруг удостоенных замыкал уперший толстые пальцы в расставленные колени, дико, исподлобья озирающийся выпученными глазами мой папаша. Поза уставшего от пыток палача, густая рыжая борода, курчавящаяся до выпуклого пуза, лоснящийся золотом шарф, свисающий на грудь двумя концами. Мне показалось, что папаша вовсе не переводчик, а душегуб, отобравший шарф у какого-нибудь несчастного прелата, прежде чем отрубить тому голову.

Все это, однако, были лишь внешние признаки, доставшиеся папаше от буйных предков: отца, капитана НКВД, деда, расстрелянного кулака, прадеда-каторжника и так далее в глубь русской истории. Папаша же, вопреки генам, уродился человеком мыслящим, тонко чувствующим и смирным. Во хмелю раньше, бывало, накатывала на него какая-то тоска, хватался папаша за кухонные ножи, колотил кулаком по столу, но быстро стихал, успокаиваемый какой-нибудь отзывчивой матерью-одиночкой...

Женщины. Они всегда были слабым папашиним местом. В эту страсть вся удасть предков и пошла. Любит он их, любит уставиться на какую-нибудь глазищами, любит таращиться, руками трогать любит, тискать, пальчики губами смаковать, волосы густые ворошить, задами играть, в груди зарываться. Потому рос я без отца. Годика мне не исполнилось, когда папаша нас покинул. С тех пор трех жен сменил, а со сколькими его отношения никак оформлены не были, не счесть. Отпрысков за его жизнь наплодилось столько, что и сам папаша порой сомневается в точном их числе. Вот и теперь уставился на галльскую кожу да кости, как удав на кролика. Уверен, исклю-

чать романчик между француженкой и папашей нельзя, скорее наоборот, романчик есть и очень еще теплится, недаром, когда она представляла папашу среди прочих, лицо ее светилось не меньше, чем когда она упомянула чеченца. Ай да папаша, промылился в лауреаты на шашнях с этой сушенкой. Наверняка она орет «түжік» в мгновения эротического смятения, а он декламирует ей Гумилева в своем переводе. С утрированным русским акцентом декламирует.

Тем временем ораторша назвала первого лауреата. С кресла поднялся краснолицый молодой человек, оказавшийся постановщиком оперных действ. Узкие брюки туго обтягивали непродолжительные мясистые ножки и зад, до того круглый, что фалды пиджачка оттопыривались, словно крылышки у кузнечика. Губы оперного ваятеля блестели, точно он только что скушал курочку. Этими губами оперный приложился к щеке французской мумии, приняв из ее клешней пышный букет и диплом.

Целый год мы с папашей не виделись, а я про цветы забыл. Обрадовавшись, что стою за колонной у двери, а не сижу в третьем ряду, согласно месту, указанному в приглашении, я скользнул обратно на лестницу.

В спину летел, затихая, голос писателя-сатирика, имеющего привычку раздеваться у директора и вызванного сейчас на сцену для вручения букета-диплома следующему счастливчику. Сатирик сострил, зрители хохотнули.

Затрепетав от предвкушения, я уловил ароматы запеченных корочек, услышал деликатный перезвон расставляемых тарелок и раскладываемых приборов. В соседнем зале готовили фуршет. Чтобы заполучить кусок, придется хорошенько поработать локтями. Сглотнул — борьба за пропитание разжигает во мне аппетит.

Налетев на лакея, несшего целый поднос сверкающих ножей, едва не поскользнувшись на отполированных ломтях мраморной лестницы, я сбежал к вешалкам, постучал номерком о стойку, накинул куртку и, стараясь не очень-то любоваться своим отражением в зеркальной стене, прошел к выходу. Уж очень шла мне короткая куртка, подчеркивала мою ладную фигуру, которую зеркало льстиво вытягивало, делая еще элегантней.

— Вернусь через пять минут, — бросил я скупающим хранителям порога.

Старик-попрошайка все еще околачивался в темноте у неприступной двери. Из кармана

его потрепанной куртки торчал корешок новенькой книжки писателя-сатирика — старик, видно, хотел подписать экземплярчик, зная, что кумир окажется среди гостей. Я протянул ему свой пригласительный.

Как ни ловок я, не удалось ускользнуть от стариковской благодарности. Цепкие пальцы вцепились в руку.

— Спасибо, молодой человек! — горячо плевался старик. И стеснительно добавил на всякий случай: — Бог вас не оставит.

— Не стоит, — я вырвался, морщась, и поспешил прочь.

Я понимал стремление старика подняться в зал с колоннами, поглазеть на знаменитого дирижера, заслуженного артиста и прочих именитых и сытых гостей вечера. Подсунуть томик сатирику, съест глазами примадонну. Понимал трепет, с каким старик всматривался в светящиеся высоко окна, вслушивался в доносящиеся завывания музыки. Я не презирал старика за детское стремление понежиться в свете тысячеваттных люстр, покушать даровых тартелеток с лепестками ветчин разных сортов, закрученных розами, с пюре из авокадо, с нежно-розовыми креветками, с икоркой, если достанется, умять, сколько получится, горячих

пирожков и еще набрать с собой в припасенный пакетик, запить ледяным белым, от которого так сладко ломит зубы, даже если зуб всего один, а вся остальная челюсть вставная. Потом полоскать дома эту вставную челюсть, вымывая кусочки импортных ананасов треугольничками, лоскутки нежнейшего ягненка, кожицу виноградинки, которая была насажена на шпажку между клубничкой и шайбочкой киви. А потом, оставив челюсть в стаканчике с водой, улечься под одеяло и на сон грядущий прочесть скетч из лихо подписанной писателем-сатириком книжки и сладко уснуть с мыслью, какая все-таки прекрасная штука эта русская культура, подогреваемая французскими вложениями.

Добравшись до цветочной лавки, я первым делом попросил влажную салфетку. Рука старика была так холодна и мокра, что, только хорошенько протерев пальцы и ладонь, я смог сосредоточиться на стеблях и бутонах.

Быстро изучив ассортимент, я попросил завернуть в бумагу десять пурпурных и одну белую розу. Продавщица возразила — это траурное сочетание, похоронный букет выйдет. Я пошутил, что у того, кому букет предназначен, есть чувство юмора, и пусть продавщица не беспокоится. Продавщица принялась

составлять букет, не скрывая испуга, презрения и непонимания, которые сменяли друг друга на ее челе, словно картинки на экране дешёвенького телевизора, какие обычно ставят на кухне. Увидев готовый букет, я понял, что белая роза выглядит среди пурпурных не столько траурно, сколь нелепо, и попросил заменить ее на пурпурную. Цветочница выполнила просьбу с чувством торжества и удовлетворения, будто назойливую муху прихлопнула. Одиннадцать роз я купил потому, что в лавке была акция — платишь за десять, одиннадцатая бесплатно. Не прошло и получаса, как я вернулся к тяжелой бронзовой двери.

— Дед, я тебе в сотый раз говорю, ты не пройдешь!

Дверь заупорил тот самый старик, которого, при поддержке юного милиционера, сдерживали церберы-швейцары. Именно милиционер тыкал старику, называя его дедом.

— Пропустите молодого человека! — велели старику. Лакейская память.

Старик посторонился. Шапку он теперь держал в руке, а в другой, которой давеча схватил меня, мял пригласительный.

— Молодой человек! Скажите им! Скажите... — Он опять уцепился, но слабо.

Ребенком я провел лето в деревне. Подкармливал кудлатого бездомного песика. Лето кончилось, взять песика в город не разрешили. Песик долго бежал за машиной, я смотрел на него через заднее стекло, а потом скорчился на сиденье и закрыл голову руками.

Теперь, видя цепляющуюся за меня руку, я протянул свою. Распахнул дверцу уезжающей машины. Давай, пес, запрыгивай.

— Он тебе передал билет, ты не пройдешь! — перерубил милиционерик связь, оторвал старика, оттесняя меня под тяжелые своды, в арку металлоискателя.

— Я все видел... он тебе передал... ты не пройдешь... — Эти заклинания толкали меня в грудь, я пытался в приветливый чертог гардероба дальше и дальше от старика.

Можно было бы поссориться с непреклонной придверной сворой, упрекнуть в черствости, в торопливой жестокости, в жажде ненужной казни, но неверие, бессилие, сон охватили вдруг. Ничего мне не изменить. Не в силах я уговорить холопов в куртках с золотыми эполетами и мальчишку-сержанта пропустить старика на лестницу, в светлый зал, к банкетным столам. На ум шло только беспомощное «вам жалко, что ли». Не принесут слова эти

пользы, ключом волшебным не оборотятся, разобьются о казенные сердца. Жалко, не жалко... не положено. Не положено голодранцам по роскошным приемам шастать, не положено именнные приглашения посторонним передавать. Сколькими слезами омыто это российское «не положено», сколько судеб под ним погребено. От «не положено» все тут хвосты поджимают, от «не положено» самые смелые герои оседают проколотыми шинами, в стадо сбиваются и твякают тихонько по углам.

В зеркальную стену я поглядеться забыл, по лестнице поднялся без всякой прыти, следом все тот песик деревенский бежал. Как ни замедлял я шаг, песик отставал неумолимо.

Церемония к тому времени закончилась, премии вручили оперативно, не позволив лауреатам нагонять на зрителей зевоту пространными благодарностями, переходящими в изложение собственных философских теорий. Я стал нехотя протискиваться к папаше сквозь спины в пиджаках, груди в кружевах, сквозь облака парфюмов. Приходилось бороться с бурным встречным потоком, многие спешили к накрытым столам.

Людское течение намывало островки возле лауреатов. Чеченца окружила диаспора жен-

щин в платках, какие-то очкарики, перебивая друг друга, скакали подле кинорежиссера, вихор оперного торчал из роя пожилых теток, и только та запущенная дамочка в сапогах слонялась одинокая, заглядывая в чужие глаза, как потерявшая седока лошадь.

Папаша внимал поздравлениям, тыкался бородой в физиономии многочисленных поздравляющих его дамочек и редких дохляков-книжников. Никого из папашиных детей, моих сводных сестер-братьев, не считая младенца, посапывающего в торбе на груди у его нынешней жены – моей ровесницы, аспирантки, кусающей губы чуть поодаль, я не увидел. Папаша то и дело не глядя передавал жене очередной букет, отчего у той в руках собралась уже порядочная охапка. Пощекотало самодовольство. Из наследников лишь я один явился выразить отцу уважение.

– Здравствуй, сын.

– Привет, пап. – Я приложился к влажной бороде.

Мы никогда не жмем друг другу руки при встрече. Мы убеждены, что руку родным папашам жмут только карьеристы и циники. Если сынок с папашей жмут друг другу руки, значит, они бесчувственные американцы, расчет-

ливые выпускники бизнес-школы. Такие постоянно друг другу руки жмут и по плечу друг друга похлопывают. Мы с папашей не такие.

Он обнял меня и с силой прижал. Щекой я ощутил крупную бородавку, кокетливо прячущуюся в курчавостях бороды. Один вид бородавки заставлял думать о неприличном. Эта тугая, интимного цвета ягода напоминала нечто, чему должно быть спрятанным, прикрытым, а не выставленным напоказ. Касание обожгло, будто папаша меня пометил.

Он вернулся к прерванному разговору с чернявым мужчиной, который улыбался с готовностью, ловя каждое словцо собеседника-лауреата. Я потоптался, кивнул мачехе, которая в тот момент отвернулась, будто специально, и пошел вон из зала, поскользнувшись перед самой лестницей на маринованном грибочке.

Старика перед дверями уже не было, милиционерик тоже исчез. Я понес свое спортивное тело подальше от ненужного букета, скользкой лестницы, светлого зала и гастрономического изобилия. Подальше от папаши-кривляки, пассии его французской, жены его нынешней, дочери их годовалой. Дальше, дальше.

Спустившись вниз по улице, я остановился у трех ларьков. В одном торговали пирожками,

в другом сосисками в булке, в третьем блинами. Выбрал самый дешевый товар — пирожки.

— Какие у вас вкусные?

— У нас все вкусные! — не поворачиваясь, ответила торговка.

Я купил один с мясом и один с сыром. Устроился за высоким одноногим столиком, позабыл сразу, в каком пирожке какая начинка, куснул наугад оба, впился зубами в горячее тесто. Вкусно! В жизни ничего вкуснее не ел. Я держал пирожки кожаными перчатками, откусывал поочередно. Автомобили катили огни, белым шматом громоздился храм, рабочий, вознесенный железной дланью подъемника, срывал с высокой искусственной елки пластиковые шары, швырял вниз помощнику, а тот грузил новогоднюю амуницию в фургон. Все-таки правильнее было бы нам с папашей друг другу руки пожимать.

В голых промерзших кустах зашелестело. Присмотрелся. Синицы. Черные полумаски, белые воротнички, зеленые кофточка. Бросил кусочек пирожка на асфальт. Самая отважная птичка спорхнула, клюнула. Покосилась на меня, нет ли подвоха. Снова клюнула. Подлетела вторая. Бросил еще. И еще. Сам не заметил, что улыбаюсь, будто синицы прыгали во мне самом.

Вернувшись домой и войдя на веранду, я услышал хохот Катерины, доносящийся из гостиной, увидел елку. Бросил куртку на кресло, подошел к елке и принялся ее раздевать. Я не смотрел на елку, мне было неловко перед ней. Так раздевают некогда любимую рабыню перед продажей, надоела, да и деньги нужны. Бережно снимают дареные кольца, ожерелья, расстегивают пуговицы и крючки.

Игрушки я прятал в старый чемодан, бережно прокладывая шары пожелтевшей ватой, к которой пристали давнишние блески. Словно фату, приподнял блестящий начес переливающегося «дождя» и снял аккуратно. Без «дождя» елка показалась совсем голенькой, будто даже какую-то тайну ее личную раскрыли — парик сорвали или увеличивающие подкладки из лифчика вытряхнули всем на потеху.

Помешкав и подстегнув себя внутренним призывом, просунул руки елке между веток, схватил за игольчатый ствол и потащил вверх. Елка показалась неожиданно тяжелой. Опустил — глухой удар. Раздвинув нижние ветви, обнаружил, что на неоттапливаемой веранде вода в горшке замерзла и образовала из сосуда и дерева единое целое. Кряхтя, отворачи-

ваясь от колючих веток, щуя глаза, потащил зимнюю красавицу на теплую половину дома, в гостиную.

Расположившись на диване, Катерина болтала по видеосвязи с подругой с другого конца света. Экран, кудлатая красотка, залитые солнцем заросли. Я поприветствовал голову на экране, поцеловал голову осязаемую. Одной рукой Катерина перебирала свои черные волосы, другой – почесывала зеленую футболку на животике. Пальчики на ногах Катерины шевелились самостоятельно, без ведома хозяйки. Во мне колыхнулась любовь.

Я наполнил ведро горячей водой, вылил елке под нижние ветви, в горшок. Тронул рукой – вода тотчас остыла.

Хотелось повсюду навести порядок. Я пошел очищать дорожку от снега. Думал о любви, о Катерине, о черных волосах, о самостоятельных пальчиках.

Проверил кормушку. Пусто. Принес бекон и зерно.

Снова взял лопату.

В черном небе горели очень высокие, маленькие белые звезды. Скоро я порядочно взмок, позабыл перипетии дня, воткнул лопату в сугроб, вернулся в дом.

Катерина по-прежнему смеялась экрану. Экран вторил. Я подошел к елке.

Немного раздраженный, уже с меньшей щепетильностью схватился за ствол. Дернул. Елка поднялась над горшком вместе с тусклой оплывающей ледяной шайбой. Если срезать со ствола ветки, получится ледяной молот.

Как насильник, который всего несколько минут назад с робостью думал о далеком и недоступном, мелькающем вдалеке пушистом затылке, а теперь грубо этот затылок схватил, я сунул елку ледяным концом в огромную кухонную раковину и включил горячую воду.

Я крутил елку, словно вертел, чтобы струя равномерно разъедала лед. Кипяток побеждал, вода мерзлая и вода горячая соединялись, и вместе они весело уносились в слив. Вот бы так легко растворялись нефтяные пятна в океане, долги и кредиты, именные приглашения. Крепкий черный узловатый ствол освободился, измельчавшая ледяная шайба стукнула о фаянс, я закрыл кран.

Опрокинув пушистую красавицу на пол, прижав коленом, я принялся нагло обматывать ветви скотчем. Завтра отвезу обратно в магазин и обменяю на купон, который смогу отоварить. Закончил наспех и выставил елку во двор.

Поднимаясь на второй этаж в душ, я в который раз нащупал на перилах лестницы застывшую каплю краски. Крохотный бугорок, незаметный глазу, осязаемый, только если скользнуть педантичной ладонью. Бугорок этот расстраивал меня ужасно. Каждое соприкосновение с ним заставляло думать о халтурщиках-малярах. И все в этой стране так: халтурно, злобно, всегда было и будет. Мысли эти неизменно завладевали мной, когда левая или правая ладонь, в зависимости от спуска или подъема, касалась бугорка на перилах. Купить шлифовальную губку, чтобы навсегда избавиться от злополучного бугорка, я забывал. Сокрушаясь по поводу безалаберности работяг, я принял душ и лег в постель.

Катерина громко хохотала в гостиной. Я лежал, наслаждаясь покоем, одиночеством и уютом. Я трогал языком гладкие вычищенные зубы. На зубах никаких пупырышков не было, не то что на перилах. Тронул небо.

Язык нащупал неровность. Тотчас прошиб пот, страх стянул затылок. Я вскочил, подбежал к зеркалу и, оттягивая губы и разевая рот, принялся вглядываться. Ничего нового рассмотреть не удалось: темнота горла с дрожащей этой пьюлей, которая посередине глотки трепещет.

Воображение нарисовало картину страшной болезни, неизвестно как проникшей в молодой еще организм. Я видел себя изуродованным, прикованным к больничной койке, отвратительным, покрывшимся коростой, струпьями и такими вот мелкими пупырышками.

Спустился в гостиную, не касаясь перил. Катерина закончила видеоразговор и наполнила ванну. Налил рюмку. Выпил. Сразу налил вторую, расплескал немного. Выпил. Закусил...

Папаша! Это же от него, от его бородавки я заразился!

Осознав глупость предположения, выпил третью рюмку и, если не успокоенный, то расслабленный, вернулся в теплую постель.

Решив сразу после каникул записаться к врачу, выключил свет.

Над головой послышался шорох.

Я перестал дышать и замер, передумав переворачиваться на другой бок, как намеревался. Шорох повторился.

Я включил свет. Посмотрел наверх. За досками потолка, в перекрытии между вторым этажом и чердаком, скреблась мышь. Сон окончательно покинул меня. Я встал, оделся и принялся обшаривать комнату в поисках мышиного лаза. Если поначалу мышь переставала шуметь,

едва слышав меня, то очень скоро привыкла и даже не реагировала на стук, когда я, топчась собственную подушку, колотил по доске, за которой она обустроивалась. Мышиное наплевательство выводило меня из себя. Это наша с Катериной спальня, а тут мышь! Прямо над головой! Я поскакал вниз по лестнице, коснулся злополучного пупырышка, стукнул кулаком по перилам, зажег повсюду свет и стал двигать мебель, отыскивая возможные ходы в стенах, через которые мышь могла пролезть в дом.

Не найдя ничего подозрительного, вышел во двор. Ночная стужа обожгла. Звезды стали ярче, небо — глубже. Свет фонаря выхватил зазор между досками обшивки прямо возле крыльца. Вот оно что! Здесь и пролезла. Ругая нерадивых строителей и вместе с тем ликуя, сбегал за мышеловкой, насадил кусочек бекона, натянул пружину и установил мышеловку рядом с зазором.

Поднявшись в спальню, долго не мог уснуть. Вошла благоухающая кремами Катерина. Я притворился спящим.

Катерина давно спала, когда за окном щелкнуло. Вскочил, выглянул. В свете фонаря увидел: наживка на месте, пружина натянута. Послышалось.

Проснулся рано, Катерина посапывала, отвернувшись. Придвинулся к ней блаженно. Вспомнил. Тронул языком небо — гладкое. Потянулся сладко. А как там мышеловка?..

Распластанная синица.

Не одеваясь, скатился вниз, распахнул дверь. Черная головка перебита надвое, зеленая грудка застыла. Глядя куда-то сквозь птицу, я вызволил тельце и отнес к дальнему сугробу. Выкопал ямку. Руки оледенели, стали льдом. Опустил синицу в ямку, забросал снегом.

Наполнив ведро горячей водой, стал смывать с крыльца заледеневшую синичью кровь. Темно-красная твердая блямба разошлась быстро. Оттаяли и руки.

Грузные облака нехотя разошлись, в просвет юркнуло солнце и давай выделяться. Опутанная елка серебрилась инеем. Синицы весело клевали бекон и зерна в кормушке, посвистывая, точно колесики игрушечной машинки.

Я вернулся в дом. Съел оставшийся бекон. Сковырнул ножом пупырышек с перил. Поднялся в спальню. Катерина щурила сонные глаза.

— Доброе утро, любимый.

Я лег рядом, обнял ее. За досками потолка зашуршала мышь.



Иерусалим. Святые места. Впервые здесь. Сняли комнату у глухого старика. Когда договаривался с ним по телефону, жена спросила, чего я так ору. Ору, потому что он каждое слово переспрашивал.

Приехали. Еврейская часть Старого города. Дом вроде нашли, но никак не пойдем, где дверь. Вокруг все такое древнее. Зато отделение полиции сразу видно. Здоровяки в синем, увешанные стрелковым оружием и переговорными устройствами.

Набрал Авраама, нашего глухаря Авраамом звали, проорал в трубку, что мы подъехали, но никак не можем найти дверь, пускай встречает.

Сказал, сейчас.

Топчемся. Повсюду бородачи с меховыми шайбами на головах, бабы в париках и дети в каких-то нахлобучках. И чем более неви-

данный наряд, тем физиономия важнее. Священный город. Нарисовался носатый старпер в кепке-аэродроме и очках-хамелеонах.

— Вы Авраам?

— Допустим, — ответил старпер осторожно.

Еврейская выправка: может быть, допустим, предположим.

— Мы у вас будем жить!

— Вы оба? — уточнил старпер, кивнув на жену.

— Так точно.

— И этот тоже? — Он указал на мужика, чья собачка присела рядом.

— Нет, этот не с нами.

Старпер задумался.

— А как вы меня нашли?

Ну и зануда, мы его жильцы, только что с самолета, с трудом разыскали адрес, а он нас на улице держит, расспросами мучает!

— По Интернету, — говорю, — нашли.

— По Интернету? — Авраам покивал со значением. Я уже подхватил чемоданы и тут слышу дребезжание за спиной:

— Эй, эй! Вы ко мне?

Оборачиваемся. Из полуподвальной дверцы, которую мы не заметили, выполз старикашка.

— Я Авраам.

Сколько же тут Авраамов! Или тот, что в очках и кепке, кивал, просто чтобы не обострять? Когда выяснилось, что мы обознались, он не стал скрывать радости.

Подвал оказался обширным, с внутренним двориком посередине. Хозяин показал наше жилище, рассказал, что и как, перескакивая с английского на французский. Проявил светские качества, умение шутить и делать комплименты. Щурил голубые глаза и вообще был сущим симпатягой. Даже угостил собственноручно испеченным пирожком и признался моей жене, что она напоминает ему невесту брата, которая тоже была русской и по совместительству его первой любовью. Шевелился этот обаяшка, правда, с трудом. И быстротой реакции не блистал. Я подумал было отчалить, пока не поздно. Того и гляди помрет наш домохозяин. Да и сходство моей блондинки с его первой меня совсем не вдохновляло. Но жена в Авраама вцепилась. Сказала, он напомнил ей прадедушку. Пришлось уважить.

Комнатка оказалась милой, но не слишком опрятной. Посуда на кухне была вымыта частями. Душ и туалет не сверкали. Но в целом

живописно. Мы же в Старом городе не ради пятизвездочных удобств решили поселиться.

Потекли дни. Мы плутали узкими тропками меж каменных стен. Повсюду шныряли тамошние военные. В основном бабы. Нам с женой, каждому по своей причине, даже пришла мысль завербоваться. Вечерами через площадь перед Стеной Плача маршировала центурия спецназовцев, два хасида в обкомовских шляпах наблюдали с лестницы.

В христианской части – выпили кофе. В армянской – глухие стены. В арабской – проезжающий на велике подросток хапнул жену за сиську. За очередным поворотом увидели свисающие с проводов кроссовки.

– В нашей школе так забавлялись с обувкой ботанов.

– Твои забрасывали? – спросила жена.

– Нет, я держался в стороне от разборок.

– В Штатах кроссы на проводах означают точку продажи наркоты.

– Откуда знаешь?

– Отец бизнес потерял через полгода, как отправил меня учиться в «Колумбию». Выживала как могла.

Мы стояли, задрав головы. Пустая улочка, изгибаясь, уходила вниз. Кроме нас, ни души. Здесь явно не Штаты.

— Выглядят довольно новыми, — взгляделся я в покачивающиеся белые «найки».

— Некоторые верят, что обувь, заброшенная на провода, пригодится в следующей жизни, поэтому закидывают новые пары.

Так мы провели несколько дней, близился мой день рождения, и мы думали, как бы его отметить в стиле Иисуса Христа и пророков. Тут Авраам, который все это время проявлял к нам всяческую любезность, предложил съездить на Мертвое море. Он все равно собирался, и нам это ничего не будет стоить. Я выразил осторожные опасения по поводу способности Авраама вести автомобиль, но жена надо мной громко посмеялась. Ха-ха. Да этот очаровательный старичок еще даст мне фору.

На следующее утро, в мой день рождения, мы двинулись в сторону Мертвого моря. Дорога вилась среди желтых гор, мы катились вниз. Авраам бойко правил, успевая показывать, где один пророк узрел Бога, а другой оживил мертвеца. Половину Библии проехали. Вдруг желтые горы разошлись, вспоротые из-под низа длинным белым осколком, и Авраам свернул на каменистую дорожку, сказав, что сейчас покажет нам свое секретное место, дикий

пляж, куда он регулярно ездит. Вскоре, однако, машина уперлась в бетонные блоки. Судя по сухому бурьяну и запустению, путь был перекрыт очень давно.

Авраам вырулил обратно на трассу, мотор несколько раз рывкнул с раздражением состарившегося супергероя. Скоро показался обустроенный пляж и домики для водных процедур.

Мы решили отблагодарить Авраама — угостили обедом. Он заказал вино и разошелся. Стал рассказывать про местные блюда, как их правильно есть руками, и принялся какие-то куски моей жене в рот совать. А она чмокала и глотала с хихиканьем. Я озверел немножко, но решил держать себя в рамках. Всего лишь старикашка, которому осталось, может, несколько дней. Пусть побалуется. Когда вакханалия прекратилась, Авраам отправился на массаж, а мы спустились к воде. Короста соли, ямы, наполненные грязью, народу никого. Полежали на воде, которая чуть ли не выпуклой оказалась. Вылезли. Обмазались грязью. Покидались грязью друг в друга. Точнее, я в жену кинул, а она обиделась. Пришлось утешать. Она утешилась, забросав меня в ответ.

Только собрались уходить, смотрим, на встречу толпа африканцев. Паломники. И все, как один, в белых кроссовках. В белоснежных. А я стою на краю ямы с грязью, чумазый весь. Одни глаза моргают. Жена к тому моменту успела отмыться под специальным душем. Все паломники ринулись ко мне. У каждого в руках бутылочка.

— Наполните, пожалуйста.

Я наполнил одну бутылочку, другую. Смотрю, остальные спешно воду допивают и в очередь ко мне выстраиваются. А какая-то баба из их компании подол задрала и в море принялась подмываться.

— Извините, — говорю. — Мне пора. Пусть она вам бутылочки наполняет.

И на бабу эту кивнул.

Из толпы крещеных потомков Хама мы вырвались вовремя. Авраам с массажа освободился и залез в резервуар с горячей водой термального источника. А там ограничение — пятнадцать минут, не больше. К тому моменту, когда мы подошли, он уже побултыхался хорошенько, но выходить не хотел. А сам красный, как говядина.

Как мы его на сушу ни волокли, ничего не вышло. Я его понимаю — в резервуаре, кро-

ме него, одни девки, и перед каждой плавают сиськи, вытолкнутые на поверхность законом физики.

Устроились смиренно ждать на лавочке.

Наконец, смотрим — ковыляет. В одних плавках и рубахе. Мы за ним. Точнее, рядом с ним. Подстраиваясь под шагжки. Возле дворца машины он задержался, я думал, помочь надо, а он отлить решил. Прямо на колесо. Я смутился оттого, что его смутил. Да и вообще созерцание седых яиц — не моя слабость.

Штаны он попытался надеть, но дело не пошло, зашатался на одной ноге и едва не упал. Я было опять сунулся помогать, но встретил отпор. Уселись как есть.

Пока мы принимали оздоровительные процедуры, машин на парковке прибавилось. Авраамову малолитражку хорошенько зажали сзади и спереди. Он мудрить не стал: подал вперед, подал назад. Раздвинул соседей и выбрался на шоссе.

Супруга моя рядом с ним села — ее на заднем сиденье укачивает. Я ее все спрашивал: «У него там ничего не торчит? Он же без штанов. Ты туда не смотри!» Жена уверила, что ничего у Авраама не торчит, а если бы и торчало, то ей это все равно.

Не успели мы и сотни метров проехать, как стало ясно — шофер наш ничего не соблюдает. Автомобиль то рвал вперед, то еле тащился. Следовавшие за нами гудели и, обгоняя, сворачивали шеи, таращась с любопытством. Но это еще полбеды. К такой езде мне не привыкать. У меня бабуля, когда получила права в шестьдесят лет, за троллейбусом на своем «жигуле» пристраивалась и ехала со всеми остановками. В отличие от бабули, Авраам вилял. Его выносило на встречу. Жена вопила и крестилась, буквально разгребая руками несущиеся на нас грузовики, показывая им, чтоб подавали в сторону. А навстречу, как специально, одни фуры, самосвалы и фургоны. Будто все из Иерусалима решили в тот день бегством спастись. Вместе с мебелью.

Перегибаясь то и дело через голову Авраама, чтобы поправить руль, я стал требовать, чтобы он передал управление мне. Он возразил, что у меня нет прав. Я попытался их продемонстрировать, но тут он перешел на непонятный язык, я такого даже у нас в Москве на продуктовом рынке не слышал. В зеркале заднего вида полыхало его лицо, а на дне потемневшей мути глаз пульсировала воля. Авраам жал на газ, упорно отматывая Писание вспять.

Нас стали преследовать полицейские. Впервые в жизни я обрадовался подобному. Полицейские поравнялись с нами, что-то показывая жестами, но Авраам и головы не повернул. В те дни поблизости проводилась очередная операция по уничтожению филистимлян, армия и внутренние войска были приведены в боевую готовность, и мне пришла мысль, что гонки со стражами порядка могут закончиться стрельбой. «Будет забавно, если меня прикончат в мой день рождения», — только успел я подумать, как полицейские свернули на перекрестке.

Что за страна? Я обернулся, увидев бело-синий автомобиль, уходящий в сторону очередного места славы Иисуса. Я-то надеялся на стрельбу по колесам. Лучше уж стрельба, чем свалиться в пропасть на горном серпантине.

Закатное солнце ударило в лицо со всей предсмертной страстью. После того как очередной грузовик с истошным гудением вильнул в сторону, жена завопила:

— Я беременна!

Если бы я треснул Авраама бутылкой по башке, это бы произвело меньший эффект. Муть в глазах прояснилась, прижался к обочине, как миленький.

– Покажи права.

Я показал.

– И это права? – с презрением вякнул было Авраам, но я не стал слушать.

Ну, потрепанные немного, велика беда.

– Правда? – спросил я тихо у жены, пересаживая ее назад, потому что Авраам согласился сидеть только рядом со мной, чтобы дернуть ручник, если что.

– Правда, – ответила жена и почему-то покраснела.

Остаток пути ехали молча, без приключений. Начинался час пик. Машины отовсюду так и перли.

Авраам велел остановиться на тротуаре у Навозных ворот. Я выразил сомнение в правомерности такого выбора, но он заявил, что через полчаса вернется и отгонит машину на парковку. Только я вынул ключ и поднял ручник, как рядом притормозил огромный внедорожник. Из-за сползшего вниз стекла высунулся пассажир, чьи локоны, напоминающие пружины моего эспандера, свесились едва ли не до колеса. Он спросил, разрешена ли здесь парковка. Так спросил, что то ли спросил, то ли намекнул, что не разрешена. Еврейские мудрости. Я пожал плечами и кив-

нул на Авраама, который как раз напяливал портки.

До дома шли через площадь. Брюки с Авраама то и дело съезжали. Раза два или три встретились его приятели. Они здоровались, спрашивали, все ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, провожали нас долгими взглядами.

Вечером Авраам завалился спать, а мы пошли отмечать в ресторан. Жена сделала сюрприз — заказала у музыкантов песню из мультфильма про Чебурашку. Я широко улыбался и пританцовывал сидя, люди в зале хлопали.

На следующий день Авраам заявил, что по нашей вине ему вlepили штраф за неправильную парковку. Я возразил, что он сам указал место и сам собирался переставить машину.

Авраам оказался мстительным, ночью включил на полную телевизор прямо за стенкой, а сам ушел в свою дальнюю каморку. Мы не могли уснуть. Телевизор выключить не удалось — он надрывался за запертой дверью.

С тех пор, невзирая на наши мольбы, Авраам включал телик каждую ночь. Съезжать не хотелось, деньги были уплачены вперед.

Измученные бессонницей, мы быстро успели растерять все расположение, какое испытывали к Аврааму в начале знакомства. Жена собиралась придушить «старого пердуна», а я ругался, что надо было слушаться меня и бежать подальше в самом начале. Мы считали дни.

Накануне нашего отъезда Авраам, который за несколько дней совсем оправился от купания в лечебном кипятке и снова выглядел светским милашкой, вдруг сообщил, что назавтра мы должны съехать в шесть утра.

— Это почему? — удивились мы. — В любой гостинице номер принято покидать в полдень. А мы съедем в десять, чтобы поспеть на самолет. У нас дальняя дорога. Зачем поднимать нас в такую рань, особенно если учесть, что из-за дурацкого телевизора, который орет по ночам, мы совсем измучились.

— Может, это у вас в России из гостиниц съезжают в двенадцать, а в моем отеле чек-аут в шесть утра! — гордо объявил Авраам. — Мне надо успеть на утренний субботний концерт.

Утренний субботний концерт в Иерусалиме! В шаббат, когда и пальцем шевелить запрещается. Насмешил.

— Тогда верните нам деньги за один день, и мы переедем в гостиницу, чтобы выспаться, — предложила жена.

— Мой отель денег не возвращает! — отчеканил Авраам и гордо развернулся, собираясь удалиться, сверкая икрами голых ног. В тот день он был в колониальных шортиках, белых носках и белых же кроссовках.

Жена догнала старикашку, схватила за грудки и начала трясти:

— Верни мои деньги, гад!

Остановить ее удалось, только напомнив, что в ее новом положении стрессы и большие физические нагрузки запрещены.

— Пошли в полицию! — воскликнула жена.

А полиция, как мы заметили в день приезда, за соседней дверью.

Заходим. Комнатка. Мониторы, бронежилеты, стрелковое оружие, рации, стол. За столом — громила.

Начинаю на английском. Так и так. Бабки взял, выставляет раньше времени.

— По-русски давай! — рявкнул громила. — Я из Риги.

— Бабки взял, возвращать не хочет, выставляет раньше времени.

— Это который тут живет? — громила указал в сторону Авраамова подвала.

Жена кивнула.

– Не волнуйся, он скоро умрет, – ободрил нас рижанин и стал пересказывать услышанное напарнику, который неслышно возник за нашими спинами.

Напарник рассмеялся и что-то сказал. Громила перевел:

– Он скоро умрет.

– Нам бы просто выспаться перед отъездом, – сказал я.

– Хочешь, чтоб я с ним поговорил? – спросил громила.

– Мы хотим съехать в десять, а не в шесть утра. У нас долгий перелет.

– Посиди тут.

Выбравшись из-за стола, громила оказался не таким уж огромным. Вместе с напарником он пошел к Аврааму. Раздался стук в дверь и голоса.

Мы с женой сидели перед пустым столом. Перед мониторами, говорящими рациями, бронжилетами, стрелковым оружием и молчали.

Полицейские скоро вернулись. Они были веселы.

– Все в порядке. Можете съехать в полдесятого.

– Спасибо. Но нам надо в десять.

– Без пятнадцати, и по рукам. Не волнуйтесь, леди, – обратился на прощание громила к моей жене. – Он скоро умрет.

Остаток дня мы провели тихо. Авраам не показывался. Мы собирали чемоданы. Надевая трусы, я зацепил ногой ткань, трусы порвались. Я бы не обратил на это внимания, если бы не особенный статус трусов. Первый подарок жены, мы тогда еще только начинали встречаться. Когда-то оранжевые в черных птичках, теперь застиранные, с обтрепанными краями. Я бы давно выбросил их, если бы не смутное ощущение сакральности. Теперь трусы порвались, я уложил их в чемодан и надел другие. На сердце было тревожно, я подпер дверь стулом.

На этот раз домовладелец не стал пытаться нас ночными телешоу, спали мы крепко. Проснулся я, однако, около шести без всякого будильника. За окошком светало. В скважину двери тыкался дрожащий в старческой руке ключ.

Я смотрел на подпертую дверь и ждал. Жена спала. После нескольких дребезжащих промахов ключ таки влез и повернулся. Дверь толкнулась и встала – стул крепко ее заблокировал.

— Съезжайте из моего дома! — завопил Авраам.

— Что случилось?! — вскочила жена.

— Доброе утро, — сказал я.

Злобный старикашка угрожал и бесновался. Наконец он выкрикнул, что зовет полицию, и исчез.

Жена наотрез отказалась вставать с постели. Я оделся, чтобы встретить штурм, как джентльмен. Через небольшое оконце в санузле я скоро увидел двоих, одного в синей, другого в зеленой форме. Обычный патруль: полицейский и солдат. Стук в дверь. Открываю.

Зеленый поздоровался по-русски и шагнул в комнату. Увидев жену под одеялом, он извинился и отступил обратно за порог.

— Вы еврей? — спросил он меня.

— А что? — ответил я.

— Вы носите здесь волосы, — ткнул он в висок, имея в виду мои баки. — И поселились в религиозном районе.

— Допустим, — согласился я на всякий случай и рассказал нашу историю.

Солдат выслушал и пообещал поговорить с Авраамом. Мы стали ждать.

Через несколько минут солдат сообщил, что обо всем договорился — мы можем съехать

даже не в десять, а в половине одиннадцатого. Отдал честь жене и подмигнул мне:

— Он скоро умрет.

— Я его проучу! — Как только патруль удалился, жена вскочила с постели и забегала по комнате. — Он меня, гад, запомнит! Не дал поспать!

Жена — сова, поднять ее на заре — все равно что медведя разбудить.

Первым делом она написала шариковой ручкой на стене возле кровати, что Авраам монстр, чудовище, что от него надо бежать.

Хорошая идея, но если поставить себя на место будущих клиентов «отеля» Авраама, то они вполне могут свихнуться. Снял ты комнатку у милого старичка в историческом центре, развлекался с женой, отвернулся к стенке, счастливый, и видишь: «Авраам — монстр, беги, пока не поздно!»

Я вспомнил бабушкины рассказы про то, что пленные немцы, которые после войны строили в Москве дома, разбивали о стенки яйца и заклеивали обоями. Яйца тухли, и запах в квартирах навсегда становился невыносимым. Вряд ли у пленных немцев был избыток продуктов питания, чтоб пускать их на мечь, только бабуся моя обои переклеивала

постоянно, аромат, впрочем, все равно стоял специфический.

У нас оставались кое-какие запасы, и я разбил пару яиц за холодильником. Посмотрел по сторонам, что бы еще придумать. Выключил свет, снял светильник и начал было соединять провода, но тут жена щелкнула выключателем, и меня отбросило на пол. Ничего. Я привык добиваться своих целей. Даже училка в начальной школе на родительском собрании выделяла мою целеустремленность. Дипломатичная тетка была, надо отдать ей должное, целеустремленность моя в ту пору проявлялась в том, что на каждой перемене я задираю девочкам платица.

Короче, пригладил я волосы, успокоил супругу и снова взялся за провода. Электричество — моя стихия. Я в электричестве дока. На трамвайные рельсы, правда, с детства боюсь наступать, все кажется, долбанет. Но это маленькая странность мастера. У нас вся семья на электричестве помешана. Отец сигнализации устанавливает, а дядя какие-то детали с трансформаторов свинчивал, пока пять лет не дали... Кстати, в детстве дядя меня учил ботинки, связанные шнурками, на провода закидывать. Если ботинки тяжелые, провода замыкает. Диспетчер отключает напряжение,

и в этот момент надо успеть срезать кабель и везти в пункт приема цветмета.

Соединив провода, я вспомнил совет приятеля-сантехника, как подгадить надоедливому клиенту. Порылся в поисках тряпки. Ничего. С трепетом достал из чемодана священные трусы, поцеловал их, скомкал и запихнул в унитаз. Будто жилы свои рвал, оттого затолкал поглубже. Надежно закупорил.

Закончив последние приготовления, мы уселись в полумраке. Жена наотрез отказалась выходить раньше десяти. Даже в кафе идти не захотела. Нажав на слив в туалете, она громко закричала и выскочила, спасаясь от накатывающей волны. Забыл ее предупредить.

Ровно в десять мы с гордыми лицами победителей вышли во внутренний дворик, оставляя позади крепко заминированную подлостьюми комнатку.

Авраам сидел за круглым столом спиной к нам. Вся его спина выражала презрение.

Жена, не поворачиваясь, направилась к выходу.

Я положил ключ перед Авраамом.

И увидел его голые коленки — старикашка снова облачился в синие шорты, белые носки и белые «найки».

Я не удержался — захотел встретиться с ним взглядом напоследок.

Глаза его смотрели мне за плечо, туда, где за стенами дома, за стенами города в глубокой впадине белый осколок вспорол желтые горы. Глаза были остры и неподвижны, как кристаллы соли, и воля не пульсировала в них, а только отражались окружающие предметы и небо немножко.

Ребенка мы назвали Авраамом. Жена настояла. Я Василием хотел. В честь дяди электрика. Хорошо, сын родился. Не представляю, как бы девочка с таким именем жила.



— Я беременна! Слышишь?! Я беременна!
Разбудила, прыгнула в постель, тормозит:

— Две полоски! Я беременна!

Он трет глаза. Фокусируется. Две красные полоски. Как на австрийском флаге. Или двоятся спросонья? В самом деле — две. Целует ее бархатный нос, щеки, лоб, колющие ресницами глаза, мягкие белые волосы.

— Какое счастье!

А что еще сказать? И вправду счастье.

По ту сторону жалюзи просыпается город. Потягивается, ворочается, зевает, фыркает в умывальниках, тяжело дышит на утренней пробежке, хрустит тостами, глотает витаминные смеси, шумит яхтенными моторами, стрекочет электропилой садовника.

— А это что? — Она указывает на спинку новой кровати, обтянутую серой тканью, на

то место, куда по ночам упирается его голова. Там пятно.

— Жир! Ты выделяешь жир! — разоблачает она.

— Зато не надо мазаться кремом по сто раз в день...

— Ты прямо курица гриль! — хохочет она. — У меня будет ребеночек от курицы гриль, такой же хорошенький и жирненький!

Блондинка была киноактрисой, которая в последние годы все меньше снималась и все больше времени отдавала благотворительному фонду, который основала несколько лет назад. Она собирала деньги на сложные операции для детей. Такие операции должны проводиться бесплатно, но больницы по разным причинам отказывают пациентам: не хватает лекарств, оборудования и специалистов. Карьера у блондинки как раз забуксовала, и тут Курица подал идею, что, пока она еще известна, можно организовать благотворительный фонд. Предмет приложения своей доброты долго искать не стали — решили спасти детей. Детей спасать приятно, да и деньги на детей дают охотнее.

Дела пошли лучше, чем можно было предположить. Отзывчивых добряков нашлось

предостаточно. Сотням обреченных малышей подарили новую жизнь. Вскоре и государство обратило внимание на фонд и взялось за его поддержку. Блондинка стремительно набирала социальный вес, ее уже называли не актрисой, а общественным деятелем. Вручили Премию президента. Новых ролей предлагали так много, что она могла выбирать самые лучшие.

Вместе с почитанием пришло и материальное благополучие. Разумеется, она не присваивала пожертвования, но от гонораров не отказывалась. Купив уютную квартиру в Майами, ведь в России, при всей любви к ней, холодно и непонятно, что будет, блондинка стала проводить все свои отпуска за океаном в компании Курицы, отдыхая от благих дел, журналистов и почитателей, набираясь сил для того, чтобы по возвращении изливать на российских сирот новые потоки добра и радовать поклонников очередными перевоплощениями. Да и в чужой земле ей не требовалось приbedняться, маскировать молодого мужа, известность и достаток от подружек, невыдающихся вертихвосток-актрис, которые вдруг обнаружили себя едва обеспеченными тетками за сорок, покинутыми спонсорами, вернувшимися в обветшавшие конурки своего

детства с маразматическими предками за стенкой. И если раньше они отвечали на ее звонки изредка и всегда высокомерно, то в последнее время она не знала, куда от них спрятаться: ту пристрой, эту познакомь, этой одолжи.

Курица бывал здесь чаще, изводил холсты и картоны, покрывая белоснежные грунтованные поверхности изображениями голых женщин. Он искал свой стиль, который годами ускользал от него. Надеялся, что вдалеке от привычных мест сможет словить долгожданное откровение. Он бродил по линованному городу вдоль вечно цветущих изгородей и кубических белых домов. Пялился на витрины, совался в пылающие неонам топки кабаков, где за десятку можно было получить коктейль или ленивые покачивания голых латинских бедер. Насыщался ощущениями этого некультурного, вульгарного, лишенного истории города, как насыщается соками виноград, питаясь скудной, неплодородной почвой. Он верил в традиционные жанры изобразительного искусства и одновременно завидовал художникам, которых называли «современными» и «актуальными». Художники эти то черепа драгметаллами украсят, то из мумифицированных человеческих тел скульптурную компози-

цию составят, то половой хер сорокаметровый на разводном мосту нарисуют так, чтобы, когда мост поднимут, рисунок вздыбился над городом.

Недавно три девицы в лосинах и разноцветных шапочках-чулках залезли на алтарь главного московского храма, вскрыли себе вены и, размахивая кровоточащими руками и обагрывая утварь и Врата, стали возносить молитву, в которой попросили Пресвятую Деву прогнать президента. Девиц перебинтовали наскоро – и в тюрьму. Оказалось, они и раньше всякие выходы себе позволяли. Например, однажды их предводительница стащила из супермаркета осьминога. Не просто вынесла, а в киску себе затолкала и прошла, виляя бедрами, мимо кассы. А подельницы все засняли – и в Сеть.

Не успели снять швы с запястий, а девахи уже прославились на весь мир. Обнаружилось, что президента хотят прогнать не только эти три, а целое поколение. Очкарики-хипстеры с челками, городские бездельники, которых неожиданно сразу очень много из кафе, музеев и парков повывлезло. За алтарных самоубийц вступились духовно опустошенные интеллектуалы, подогреваемые науськиванием запад-

ных спецслужб, только и мечтающих о подрыве авторитета Рашен Ортодокс Черч, на которой вся Русь и держится. В перформансе с осьминогом эксперты обнаружили надругательство над памятью Христа, символом которого, как известно, является рыба. А где рыба, там и осьминог. С морепродуктами нынче шутки плохи.

Прокуроры вменили арестованным бесовское дрыгание, непотребное приплясывание и адское шевеление с целью возбуждения, разжигания и унижения. Тетеньки из комитетов этики, эстетики и общественной морали с глазами выброшенных кукол констатировали об атаке дьявола на Третий Рим.

Курица кусал локти: соскам злополучным едва за двадцать, а он уже Христа пережил и до сих пор никому не известен. Курица страстно жаждал славы, испытывая одновременно парадоксальную неловкость от мысли, что надо выпячиваться, обдумывать и планировать скандал, а хорошо бы и родиной слегка торгачуть, выставить напоказ какую-нибудь пакость, что-нибудь гнилое выискать, хоть сатанинские скачки в храме устроить, лишь бы иностранным кураторам и правозащитникам угодить. Одновременно он боялся боли, насмешек,

избиений, ареста, срока, холодного осьминога, которого непременно придется куда-то засовывать. Курица продолжал сторониться остросоциального искусства, вдохновленного общественным протестом, продолжал отчаянно рисовать голых женщин, веря, за неимением идей, в силу собственной искренности.

Из всех сюжетов Курицу интересовал этот. Ничего другого в голову не приходило с тех пор, как малым дитем, ползая по полу, нарочно заглянул под подол родной тетке. Два столба ног, переходящие в огромные полушария. Затемнение между этими полушариями гипнотизировало, притягивало и с того дня затмило для Курицы все звезды и светила. Он и стал художником, чтобы иметь предлог снова и снова овладевать этой тенью. При такой зависимости рисование — единственный способ уберечься от погони за каждой юбкой. Все желание, страсть разгадки, томление, все в линии и пятна уходит.

Он старался рисовать одну блондинку. Чтоб в другую не влюбиться. А она всегда была готова. Любые позы принимала. Только в последнее время была сильно занята, и Курица подыскал натурщицу. К стене в гостиной был прислонен большой холст, на котором, опира-

ясь на колени и ладони, выгибалась фигуристая деваха. С шеи до самого розового пушистого ковра свисал крупный золотой крест, голову венчала патриаршая митра. Кисти рук обматывали окровавленные тряпки. На зрителя дева смотрела так, что слюна в горло не сглатывалась и сердце с ритма сбивалось.

Душевая лейка треснула, вода била во все стороны.

– Ты обещал исправить! – крикнула блондинка.

– Сегодня исправлю!

– Я могу вызвать мастера.

– Я сам.

Очень сексуально, когда мужчина с руками. Курица знал, что умение чинить сантехнику делает мужчину сексуальным. Он хотел быть сексуальным и потому твердо решил исправить душ.

Сели завтракать. Курица суетился у холодильника, причитая: «Чего-то хочется, а чего, не знаю», и запихивал в рот все подряд. Фрукты, ягоды, бекон, сыр, салат, капсулы витаминов.

Блондинка чинно сидела за столиком на балконе и пила кофе маленькими глоточками.

Пока она решала, что будет есть, он уже набил пузо и теперь кипел энергией.

— Как несправедливо, что нет бессмертия, — пожаловалась блондинка апельсиново-му соку, который налила в стакан.

— Взболтала? — встрял Курица.

— Взболтала. — Блондинка встряхнула прозрачную бутылку.

— Видишь, сколько гущи на дне, — наставительно указал Курица.

— Отстань.

— Ты мой поросеночек. — Курица ущипнул блондинку за грудь.

От радостной новости и полного желудка Курица весь бурлил. Ему всегда нравилось лапать блондинку, называть поросеночком, а долгожданная новость совсем его взбудоражила.

Внизу, у бассейна, девица в купальнике облокотилась о парапет.

— Хороший город, как ни глянешь в окно, обязательно увидишь классную задницу!

— Хочешь сказать, я жирная свинья? На баб пялишься?!

Комплименты, которые он считал проявлением нежности, слова вроде «поросеночек» и «хрюшок» оскорбляли блондинку, щипки

и шлепки она принимала за намек на свою полноту. Она недолюбливала свою женственность, бедра, грудь и особенно круглый животик, который любили режиссеры и зрители и который вызывал к ней абсолютное доверие учредителей фонда. В то утро грудь набухла, соски болели.

— Я люблю твое тело!

— Можно спокойно позавтракать?! — В ее голосе звякнули колюще-режущие столовые приборы.

Блондинка была смешная и трогательная, когда злилась. Это и подбивало Курицу на шутовское хулиганство. Чтобы вызвать визг, надутые губки, брань, звучащую по-детски. Чтобы она гонялась за ним, пытаясь заломить руки, повалить, защекотать до дикого хохота. Сейчас она обиделась иначе. Такая ее обида, помноженная на откуда ни возьмись взявшуюся скорбь по несуществующему бессмертию, служила предвестником слез, рассуждений о собственных страданиях и несправедливом устройстве мира. Сделав глоток плохо взболтанного сока, она сказала:

— Изобрели бы поскорее бессмертие, трудно, что ли! Только у меня появились

деньги и возможность отдохнуть, когда можно не думать о пропитании и просто наслаждаться жизнью, я начала стареть и забеременела.

— Ты прекрасно выглядишь! — твердо заявил Курица с трудом скрывая: «Ну вот, опять началось». — Ты забеременела, потому что молодая! Дети и есть бессмертие. Мы воплотимся в нашем ребенке. Не все же чужими заниматься! Кстати, если бы люди были бессмертны, у тебя бы не было фонда.

Блондинка пропустила мимо ушей формальные и возвышенные рассуждения Курицы, его шуточку про фонд, которой он сам же и рассмеялся. Ее не купишь на такое фуфло, как воплощение в своих детях.

— Я уже неинтересна молодым парням, со мной уже не так кокетничают на улице. Знаешь, как со мной раньше кокетничали?!

Недавно ей стукнуло сорок. И она на самом деле старела. По утрам мешки под глазами, несколько седых волос, узкие сапоги перестали застегиваться на пополневших икрах. Курица переживал, что стареет медленнее. Ему было всего тридцать четыре, и он старался нагнать блондинку: ел жирное, чтобы поправиться, жарился на солнце, мечтая иссушить кожу.

Тщетно. Калории посмеивались над ним и отказывались откладываться в брюхе и щеках. Разве что это пятно на спинке кровати от избытка холестерина.

— Зачем тебе другие парни?

— После сорока женщина никому не нужна. Ее не замечают, жалеют. Через десять лет мне будет пятьдесят, а тебе сорок с мелочью. Женщина в пятьдесят — старуха. Никто не станет любить меня бесплатно, а ты будешь изменять и скрывать это из жалости!

Океан дул в лицо. Залив выстреливал белыми катерами. Виллы нежились в густой пене пальм. Небоскребы слепили стеклом. Блондинка смотрела на город. На дома и окна за жалюзи. Там люди. И всем этим людям плевать на нее.

— Зачем я родилась женщиной?! — с ненавистью спросила блондинка. — Зачем я рано старею и должна рожать?!

Курица вздохнул.

— Зачем ты со мной?! Зачем?! Зачем?! Чего прилип! Я бы на твоём месте трахала молодых баб. Всем бы детей делала. Чего ты со мной возишься?!

— Я люблю тебя, — ответил Курица и задумался: не соврал ли?

— Зачем жить в ожидании катастрофы? Давай расстанемся теперь!

Когда Курица голоден, он груб и нетерпелив. На пустой желудок он не желает выслушивать жалобы блондинки на жизнь, сочувствовать, успокаивать, ободрять. Теперь Курица был добр и великодушен, дожевывая, он поцеловал блондинку в шею. Она ощутила крошки на его губах. Она услышала, как тихонько щелкнули его челюсти, как он сглотнул остатки завтрака.

— Я же очень люблю тебя, глупая. Люблю такой, какая ты есть, — настаивал Курица, вычищая языком десны. — Давай помассирую тебе плечи.

— Ты меня бросишь, когда я рожу! — Она оттолкнула его. — Мне каждую ночь снится, что я все старше и старше! Что ты презираешь меня, трахаешь, морщась! Каждую ночь, каждую ночь! Трахаешь меня, а хочешь ее!

Блондинка ткнула в картину возле стены.

— Ты же не могла позировать! Я нашел натурщицу. Да, она привлекательная! Я не могу рисовать без страсти!

Блондинка набухла и прорвалась слезами.

Курице захотелось спрятаться, зажмуриться. Заткнуть уши, скрыть лицо, сжаться, исчез-

нуть, стечь струйкой по водосточному желобу. Он мог бы ударить ее, только бы не видеть этих плачущих болотно-джинсовых глаз.

— Слушай, если ты со мной так несчастлива, то... зачем нам тогда ребенок? — спросил он, выговаривая каждое слово.

Он очень обиделся, что предложение сделать массаж не встретило восторга. Каждый раз, когда блондинка позволяла себе быть несчастной, Курица воспринимал это как оскорбление. Ее несчастье было для него неблагодарностью, ножом в спину.

— Хочешь со мной расстаться?! Сейчас, когда я забеременела? Ищешь предлог, да?!

— Ничего я не ищу! Но если ты глубоко несчастна, то причина твоего несчастья — я!

— У тебя кто-то есть! Посмотри на меня! — Блондинка принялась ловить лицо Курицы.

— Нет у меня никого!

Его глаза избегали глаз блондинки, упирались, как скотина, которая поняла, что ее волокут на бойню.

— Посмотри на меня!

Курица скрытный. Не любит, когда ему в душу лезут. В такие моменты чувствует себя устрицей, которой нож между створками засунули и шуруют.

— Я не могу быть счастливой, во мне какой-то дефект...

Блондинка опала вся. Оба сидели выпотрошенные.

Собрав силы, Курица стал производить слова:

— Ты беременна. Мы так долго этого ждали. Надо радоваться. Жизнь дана для радости.

Эти фразы вытаскивали его из трясины, будто лебедкой. Зацепился за камень, за пенек и теперь медленно подтягиваешь себя.

— Ты правда так думаешь или говоришь, чтобы меня успокоить? — робко спросила блондинка, снова обхватив его лицо ладонями, ловя его глаза своими.

Он отправил взгляд прямо ей в лицо.

— Я правда так думаю.

— Какая же я дура, забеременела и страдаю, вместо того чтобы радоваться!

Окрыленный тем, что зародыш депрессии удалось раздавить, гордый своими психотерапевтическими способностями, которые, говоря по правде, порядком развились за годы жизни с блондинкой, Курица взял лепешку, стал отщипывать.

— Можно на твоем почту проверить? — Курица кивнул на ее ноутбук. — Мой виснет.

— Конечно, любимый! — Она поцеловала его в губы. — Ты разослал свои работы?

Курица ждал ответа от галеристов и кураторов, которым отправил портфолио две недели назад. Все это время он по несколько раз в день проверял ящик, боясь пропустить судьбоносный ответ.

— Разослал.

— Ты очень талантливый. Я в людях не ошибаюсь.

Сразу открылась ее почта. Курица не читал чужих писем, даже заголовки и списки адресатов не пробежал глазами принципиально, но почта открылась на письме, к которому была приложена фотография. Малюсенькая картинка. Настолько маленькая, что не разглядишь, что изображено. Но он разглядел. И будто на бетонный столб налетел с размаху.

На фотографии блондинка ласкала другого мужчину. *Его блондинка ласкала другого.* Развалившегося в кресле, похожего на огромного холеного дога, мужика с фотоаппаратом. Она стояла на коленях, обернувшись к зеркалу, в котором оба отражались. И смотрела прямо на Курицу. И не прекращала ласк. И улыбалась.

В дверь постучали.

Рожать блондинка не хотела, детей не любила и не понимала, зачем они нужны. Организовывая фонд, она просто верила в то, что несколько десятков выживших малышей в год не сильно навредят планете на общем фоне перенаселенности, зато ее энергии найдется достойное, уважаемое обществом применение. Ей был нужен Курица. Будучи прагматичной, она понимала, что трудно найти другого мужчину, с которым не будет противно просыпаться по утрам, который не станет слишком сильно тянуть на себя одеяло семейного первенства, ободрит и приголубит в трудный момент.

А Курица, напротив, хотел наследника.

Сколько бахил она ради него изорвала о полы и лестницы больниц, сколько счетов оплатила. Врачи не могли прийти к определенному выводу. Одни склонялись к тому, что Курица бесплоден, то есть не окончательно бесплоден, но любая его попытка оплодотворения превращается в неподконтрольную науке лотерею с минимальным шансом на успех. Другие ссылались на ее возраст: что вы хотите, детородные функции снижены, не девочка уже. Намеки на годы выводили ее из себя. В своем здоровье она не сомневалась. Всегда

залетала без проблем. Правда, не до того было. И мужики не те. Приходилось избавляться.

С каждой новой неудачной попыткой она все тверже решала родить и доказать, что здорова. И молода. Она забеременеет во что бы то ни стало.

Услышав стук в дверь, блондинка решила, что ее нет дома, и не шевельнулась. Она не любила, когда в дверь стучат.

Курица не мог отвести взгляд от экрана. Картинка подсакивала вплотную и отпрыгивала. Подсакивала и отпрыгивала. Как задиристый кавказец. Курица зажмурился — картинка тут как тут, на внутренней стороне век. Множество пульсирующих копий с зелено-золотыми горящими краями водили хоровод, бились о границы поля зрения, скатывались к центру.

Он не понимал, что делать с картинкой, липнувшей к глазам. Куда положить, где хранить?

Надо во всем признаться. Рассказать как есть. Я все видел, но я не специально. Я не шпионил. Не копался в твоей переписке, даже это письмо, открытое, не прочел. Фотография сама выпрыгнула. Сама.

Не поверит. И вообще, с какой стати он должен перед ней оправдываться. Это же не он голый на фотографии.

Дура! Не может ящик почтовый закрывать! Дура! Он ненавидел блондинку не за измену, а за то, что не сумела скрыть.

Но ведь на фотографии ничего нет. То есть они не занимаются ничем предосудительным. Да, оба голые. Да, она его трогает, но... Просто сфотографировались. На память.

А ведь это компромат. Пригодится. Приберегу, а когда настанет нужный момент, возьму да и выложу. Нет, мерзость.

Курица воткнул флешку. Сохранил фотографию. Закрыв почту. Опустил крышку ноутбука.

В дверь колотили.

Так стучатся представители власти. Именно такого стука боится блондинка. О таком стуке ей рассказывала мать — так стучали те, кто пришел за дедом.

Курица перевел взгляд на хлебный кусочек, который собирался отправить в рот, и сквозь залепившую обзор картинку, которую он попытался смахнуть рукой, увидел зеленые точки. Плесень. Курица поднес кусочек к глазам, присмотрелся. Хлебная гладь была усеяна бар-

хатистыми, серо-зелено-синими, словно глаза блондинки, соцветиями.

Курица встал со стула, пошел, остановился у двери, отпер замок. На пороге стоял мужчина-на-дог с фотографии.

Курица толком не знал, хочет ли он ребенка. То есть, конечно, хочет, но... «Зачем дети?» – спрашивал он себя. Конечно, он не верит ни в какое бессмертие посредством детей. Просто набор полноценного горожанина: машина, квартира, ребенок. Двоюродная сестра Курицы, пока занималась карьерой, лет десять все повторяла, что детей не то чтоб не любит, а не чувствует к ним ничего. Но карьера застопорилась, а тут как раз парнишка один подвернулся. И сестра в скором времени родила дочку и не сильно переживала, когда парнишка растворился вдали. С тех пор она только и делала, что рассуждала о пользе детей и давала советы: «Ты не переживай из-за увольнения, просто роди ребеночка», «Не думай о том, как кредит вернуть, роди ребеночка». Из всего этого Курица вывел: ребенок – что-то вроде лекарства от скуки, которая наступает, когда заканчивается юность. Способ для покину-

тых женщин почувствовать смысл. Подтверждение своей нормальности, ликвидности, товарности.

Курица побаивался ребенка. Размышления и разговоры с друзьями не успокаивали. Ведь ребенок не то что бессмертия, он может и счастья, о котором все толкуют, не дать. Будет орать по ночам, требовать внимания, оттянет часть их доходов, будет болеть, попадать в неприятности, будет заставляя его, Курицу, волноваться, а он, Курица, очень нервный. Но самое главное, чего боялся Курица, что если родится сын, то он обязательно будет стыдиться его, отца. Сам Курица считал себя неудачником, которого будущий сын не решится знакомить со школьными приятелями. Однако отсутствие ребенка делало его еще большим неудачником. У всех его друзей имелись какие-никакие дети, а у некоторых даже по несколько. Друзья разводились с женами, подруги оставляли мужей, но дети подрастали, набирали вес и уже высказывали свое мнение о политической обстановке на Ближнем Востоке. Последней каплей стала полунормальная одноклассница, торчавшая всю жизнь на всем подряд и недавно разродившаяся розовощеками близнецами.

Мужчина-дог хлопнул его по плечу и, широко улыбаясь, по-хозяйски прошел в квартиру.

— Ну как вы тут? — спросил дог, чмокнув блондинку.

Курица смотрел в дверной проем, туда, где только что стоял дог. Он видел часть коридора, дверь квартиры напротив. Курица был защитником крепостных ворот, через которые прорвался враг. Он закрыл дверь и пошел в глубь жилища, откуда раздавались голоса.

Дог с легким скрипом крутился на высоком стуле возле стойки, распорядился бутылкой сока и стаканом.

— Взболтай.

— Чего?

— Взболтай сок, прежде чем наливать, — пояснил Курица.

Дог задержал на нем взгляд, а потом расцвел улыбкой. Встряхнул бутылку и так и этак. Плеснул в стакан. Выпил. Шорты, майка, кроссовки. На груди пятно пота. Мясное, выпуклое, плотное, разработанное тело прожигало легкий спортивный наряд, перло наружу. Взгляд притягивал увесистый, толстый, плотный, пульсирующий, взмокший гульфик договых шортов.

Запах дога, орехово-травный запах его пота, сразу заполнил квартиру и стал прони-

кать в ноздри. Курица попробовал дышать ртом, но ощутил вкус. Любовник его жены проникал теперь и в него, разжимал ему рот, раздвигал ноги.

— Есть хорошие новости. Мне в новом ресторане нужны картины. Хочу, чтобы ты показал свои вещи моему помощнику. Купим у тебя кое-что. Твой стиль — то, что нам надо.

Дог снова толкнул его.

— У нас будут обедать жулики и миллионеры со всего мира, твои картины пойдут нарасхват.

Новый хлопок крепкой пятерней.

— Здорово, — отозвался Курица, став игрушкой: на нее жмут — она пищит.

— Что-то имеете против мексиканцев?

Дог указал на свинью-копилку, на которую блондинка нахлобучила маленькое сомбреро. Из тех, что горлышки бутылок с текилой украшают.

Курица задумался, он не мог решить, имеет он что-то против мексиканцев или нет.

— Шутка!

Хлопок по плечу.

Захотелось перехватить эту руку, крутануть, кулаком по печени, ногой под коленку. А когда свалится, бутылкой из-под сока. Не взболтанного.

– А это что?

Дог кивнул на старый матрас, прислоненный к стене.

– Новый купили, а этот никак не выкинем, – пояснила блондинка.

Курице показалось, что она издевается над ним, попрекает ленью. А он, художник, не обязан матрасы выкидывать.

Он схватил матрас и поволок к двери.

– Вызови дворника, он заберет! – гавкнул дог.

– Я сам, – буркнул Курица и загорелся лицом.

Блондинка пожала плечами, мол, пусть психует, не ее дело.

Они купили матрас на первое время, когда еще не было мебели. Радовались невысокой цене и тому, что продавался матрас рядом, у соседа на другом этаже. Блондинка натянула на матрас чехол, прежде чем стелить простыню. Сначала даже решили кровать не покупать. Спать на матрасе романтично, как будто студенты.

Теперь, прижимаясь к розам и листьям на ткани, касаясь ухом пятен, Курица выволок матрас за дверь и принялся ожесточенно толкать его в сторону лифта. В кабину как раз входила

соседка, лоснящаяся от гордости кобыла с пузом, раздутым изнутри созревающим плодом, готовым со дня на день выкатиться наружу. Она улыбнулась, то есть растянула поджатые губы, сморщив личико в то, что принято называть улыбкой. Глядела при этом куда-то в сторону.

Дверцы лифта закрылись. Сердце колотило так же настырно, как колотил в дверь дог, как колотятся рвущиеся на свободу детеныши чудовищ, созревшие в человеческом теле. Курица стал подпрыгивать в такт сердцу, толкая дно лифта, пытаясь ускорить движение вниз. Беременная соседка поняла, что оказалась в замкнутом пространстве с человеком, опасным для нее и приплода, и забилась в угол, гипнотизируя электронный счетчик этажей, который, как назло, полз, словно придавленная крыса. Курица испытывал омерзение от близости будущей мамыши. Он видел ее почти регулярно. Здравовался. И даже спрашивал, как дела, а они с мужем интересовались, как дела у них с блондинкой. Теперь хотелось вломить этой тупой суке кулаком по испуганной морде за то, что она испугалась его. Раньше мирилась с его существованием, морщила мордочку в улыбку, а теперь увидела в нем опасную

гадину, дикого русского. Курица протянул руку к ее животу.

— Пожалуйста, не надо, — проскулила эта идиотка.

«Как же я тебя ненавижу», — подумал Курица и погладил этот мясной, пульсирующий чужим сердечком потеющий шар, из которого скоро явится новое мясо, которое научится морщить мордочку, здороваясь с соседями, и торопливо прятаться в свою норку, едва увидев чужие слезы.

Дверцы раздвинулись. Беременная кинулась наутек. Шея взмокла, из подмышек лило, словно со сводов пещеры.

Как же они теперь? Как теперь разговаривать на балконе, выбирать в магазине продукты, обсуждать общих знакомых, неизменно приходя к выводу, что они самая счастливая пара?

Он моргал, пытаясь избавиться от маленького изображения, которое отпечталось на сетчатке его глаз, как отпечатывается резко вспыхнувшая лампочка.

Они фотографировались. Он. Ее. Фотографировал. Она любит позировать. И теперь он прислал ей фотографию. И она ее уже видела. Письмо было прочитано. Сегодня утром, ког-

да говорила о беременности, когда мечтала о вечной жизни. Она. Уже. Видела.

Курица из последних сил тащил неподъемную, символизирующую размером и окрасом все амбиции среднего класса, все его требования к роскоши, до сих пор пахнущую чужими людьми, обкончанную подстилку. Возле контейнеров стояло несколько точно таких же выброшенных матрасов. Выглядели они новее.

— Куда это вы, сэр? — окликнул охранник.

— Выкидываю, — раздраженно бросил Курица.

— А разрешение у вас есть?

— Зачем разрешение?! — тяжелое дыхание сбивало речь, Курица мотнул головой на выброшенные матрасы.

— Администрация здания берет за вывоз крупных вещей отдельную плату, — не без удовольствия пояснил охранник.

Курице показалось, что охранник злорадствует, все знает про его жену и дога и теперь с удовольствием зачитывает ему иезуитские правила, которые обязывают его, Курицу, волочить тяжеленный матрас обратно. Все сговорились, чтобы унижить его.

— Ты откуда, босс? — вступил в разговор дворник, усатый мордас средних лет, похожий на нобелевского лауреата, писателя Маркеса.

— Из семьсот первой.

— Иди в офис, плати сто пятьдесят и возвращайся с чеком.

Зачем спрашивать, из какой он квартиры, чтобы сказать: «Иди и плати»?

Избавление от покупки обходилось в две ее стоимости. Кроме того, перед ним стояли прекрасные, готовые ехать на свалку и потому совершенно бесплатные матрасы. Ста пятидесяти долларов в кармане не было.

Курица едва удержался, чтобы не бросить матрас прямо здесь и не сказать охраннику и дворнику, что они недоноски, ничтожества, один нигер, другой сраный латинос, что законы их — говно, пусть они эти сто пятьдесят себе кое-куда засунут, и что Маркес не такой уж хороший писатель.

— Могу вывезти твоё барахло за сотню, — вполголоса предложил Маркес. — Эти чертовы менеджеры — сквалыги, не дают заработать. За десять лет ни одной премии на Рождество! Только футболки выдают, а цена им два бакса! — Маркес оттянул на груди белоснежную

футболку с отложным воротничком и двумя пуговками под горлом.

— Двадцать, — предложил свою цену Курица.

— У меня семья, босс. Чем кормить детей? Да и с этим поделиться придется, — Маркес кивнул на охранника, который старательно делал вид, что не слышит их разговора.

Маркес распространял богатый букет ароматов, он пах просроченными продуктами из магазина здоровой пищи, травяными пилюлями для сосудистой системы, глотками вина со дна бутылок, недокуренными сигарами — одним словом, издавал запах помойки дома, населенного обеспеченными людьми.

Курица вызвал лифт.

— Подумай о боге! — горячо воскликнул Маркес, забыв об осторожности.

— Двадцать пять, — рявкнул Курица, подумав о боге.

За стальными дверцами колыхнулось. Дверцы разошлись. Курица втокнул матрас в лифт и вдавил цифру «7».

С догом Курица и блондинка познакомились меньше года назад. Почти сразу после покупки квартиры. Пятидесятилетний богач,

наследник разнообразной недвижимости. Здоровый, крепкий, напористый, не чуждый прекрасного, увлекается фотографией, живет в пентхаусе прямо над ними. Стали часто общаться. Он ввел их в здешний круг. Не эмигрантское гетто, а настоящие белые американцы, немного евреи, но не слишком, с родословными, с бабкиным фарфором и дедовскими клюшками для поло. Местный бастион старой Америки, упорно сопротивляющийся латиноамериканской волне. Очень лестно.

Дог не голодал в детстве. Не сомневался в своей правоте. Твердо стоял на пружинистых ногах. Эффективный, плотно устроившийся в жизни. Курица мечтал быть таким. Они и внешне похожи. Могли бы сойти за братьев с разницей в возрасте в двадцать лет.

Дог показывал фотографии своих четверых детей. Два мальчика, две девочки. Крепкие, улыбчивые парни, спортивные красавицы в школьной форме. Журнальное счастье. Сын от такого будет ладным, пропорциональным, трезвомыслящим. Дочь вырастет настоящей леди, научится маскировать подлости, увлечется верховой ездой. Никакой суеты. Взвешенные решения. Правильное питание. Чинные похороны. А пожалуй, хорошо, что

его ребенок — от этого широкогрудого, нестареющего, обтянутого качественной загорелой кожей самца. Наши мечты воплощаются в наших детях. Дети должны быть лучше родителей. Он ее понимает. Понимает, почему она сфотографировалась с ним голышом. Как можно с ним не сфотографироваться? Он бы и сам сфотографировался.

Курица долго стучался в дверь, пока ему открыли. Дог и блондинка над чем-то смеялись.

— Зачем ты притащил матрас обратно?

— Нужно вызывать специальную службу.

— Что-то новенькое, — удивился дог. — Ты, наверное, попал не на того дворника. Обычно даешь полтинник, и они все сами вывозят, еще спасибо говорят. Наши друзья латино-пипл.

Дог шутливо указал на свинью в сомбреро. Блондинка ухмыльнулась.

— Ну, я пошел. Тебе надо будет подъехать в ресторан после обеда. Посмотришь интерьер, прикинешь, где картины развесить.

Курица кивнул.

Главное, все шито-крыто. Она ему в нос ничего не тычет. Дог грань не переходит. Он сам виноват, что напоролся на фотографию.

— Спасибо! — Курица вдруг набросился на дога, сжал его плечи, стал трясти. — Спасибо!

— Да не за что, — рассмеялся дог иронично. Но с опаской. И стал Курицу отцеплять. — Приятно помочь талантливому человеку.

«Это о чем он сейчас? Намекает, что помог мне бабу оплодотворить? Хотя откуда ему знать. Разве что она сказала...»

Курица обхватил дога и прижался. Захлебнулся запахом, вздрогнул от его хуя, ткнувшегося сквозь шорты.

Блондинка стояла, опершись на балконные ограждения. Ее розовый пробор заставил Курицу пошатнуться. Захотелось прижаться, спрятаться в этой гриве, вдохнуть ее запах. Как будто сунул нос в банку с травяным чаем, а там целое русское поле закупороно.

Курица обнял блондинку. Тело ее напряглось. Блондинка боялась высоты, и теперь он прижимал ее к ограждениям, прижимал вплотную к высоте. К ветру, несущему ароматы цветов и моря. К городу, полному безразличных к ней людей, которые не обернутся, если она сейчас полетит вверх тормашками с балкона. А если и соберется вокруг ее труп несколько зевак, то разве что сфоткать, контент для блога, сотни перепостов, тысячи комментов.

— Пусти.

Он поцеловал ее в шею. Она так любит эти поцелуи, когда кудряшки на затылке трепещут под его дыханием.

— Пусти! — Она уперлась в поручень.

Взять да и перевалить ее через край. Вниз, туда, где зонты, шевелюры пальм, бритые головы негров, точно пушечные ядра, смуглые тела местных и белесые отпускных. Всю свою мерзость вместе с ней сбросить. Воспоминания, желание смолчать, стерпеть, отомстить. И самому следом.

Блондинка вырвалась.

Справлюсь. Виду не подам. Что не убивает, делает сильнее, а что убивает, делает непобедимым. Мы так долго ждали. У нас будет ребенок. Наш ребенок.

— Я могу умереть при родах.

— Ты не умрешь.

— Так хочется бессмертия...

С догом она беззаботно смеялась, а с ним опять затянула нудятину.

— А детей куда девать? Перенаселение тебя не пугает? — невольно улыбнулся Курица.

— Зачем бессмертным дети? — удивилась блондинка.

— Ну... Для развлечения.

— Вот именно, для развлечения! Дети — это ответственность, а не развлечение! Детей

надо вообще перестать рожать... А если семья хочет ребенка, то пусть мать или отец отказываются от бессмертия в его пользу. И уступают ему квартиру.

— А измена является преступлением?

Испугавшись вопроса, не желая услышать ответ, он поцеловал ее. Она схватила его руку, прижала к ней губы.

— Я хочу, чтобы ты был моим господином. Приказывай мне!

Курица запустил пальцы в ее волосы, приблизил ее лицо, провел собой по ее губам. Смотрел, как она, закрыв глаза, вдыхает его, льнет, раскрывает губы и принимает его. Подняв глаза, она смотрела на него.

Он не выдержал ее взгляда, схватил висящий на спинке стула платок, завязал ей глаза.

— Я твоя рабыня! — простонала она.

Раздался стрекот самолетного мотора. Блондинка прекратила ласки, приподняла повязку.

— Романтический уик-энд всего за триста девяносто девять, — прочитала блондинка рекламную ленту, растянувшуюся по небу.

Курица стоял расхристанный, только что повелитель, а теперь неизвестно кто, кому де-

лают одолжение, кого променяли на романтический уик-энд за триста девяносто девять.

– Посмотри на меня... – Курица взял ее за подбородок.

– Ой, не люблю, когда меня так держат. – Она отодвинула его руку.

Он ударил ее той же рукой. Не сильно. И схватил ее за волосы и стал забивать себя в нее. Она кривилась, кашляла, задыхалась, а он затыкал ее собой, затыкал себя ею.

– Нравится?!

Она всегда просит, чтобы нежно, ей так хочется нежности. Любит нежность, ласковые прикосновения, едва ощутимые, по внутренней стороне руки провести пальчиком, в шейку поцеловать, ушко зубками прихватить, проникнуть медленно-медленно. Теперь на ее подбородке трепались слюни.

В оконном стекле он увидел себя и ее. Не успел разглядеть, как его сменил дог. Картинка нашлепнулась на него почтовой марочкой и отправила в не пойми какую страну, из которой ему уже не выбраться. Курица позабыл о соседних балконах, о жалюзи и шторах, за которыми прячутся доброжелатели. Ее ничтожность свистела кнутом над его спиной, пришпоривала его.

— Ты ничего не умеешь!!! Мне противно!

Он оттолкнул ее. Уж не обошел ли его дог по мужской части? По технике? По нежности этой блядской?

— Все не так делаешь! Меня тошнит! У меня гланды!

— Лентяйка! Приласкала и заскучала!

— Ты сам все затеял! У меня никакого настроения!

— Что-то у тебя в последнее время часто нет настроения!

— Я ужасно старая. Уже ничего не хочу.

Ее лицо перекосилось и взбухло влагой. Она так и сидела, не отеревшись, не оправляя задранный подол.

— Если бы ты знал, как я ненавижу твою молодость! Когда у меня живот вырастет, ты станешь мне изменять. Любая шлюха скажет тебе, что беременна твоим ребенком, и ты меня бросишь. Надоели эксперименты с собственным телом! У меня карьера, фонд! Мне этот ребенок не нужен! Только ради тебя стараюсь! А ты не готов, ребенок родится, и скажешь, что тебя раздражает его крик, подгузники, и свалишь!

Отколошматить бы ее, пускай проваливает со своими слезами, и еще поджопник отвесить.

Кулаки налились, любовь загудела, закрутилась, стала биться, кидаться по всему телу из угла в угол. Перебаламутила кишки, такой шейк из мозгов устроила, что он ослеп. Он мог бы на ощупь прикончить блондинку. Не спихнуть за балконный борт, а сдавить ей глотку с этими ее гландами и башкой о стенку. Исколотить суку. Вывалить. Руки к ней потянулись, но мячик, бьющийся в теле, отбросил его. Руки со скрюченными пальцами еще топорщились, но он попятился, как зомби, которого отпугнуло заклинание.

Перед очередным приездом сюда, обзаведясь уже кипой разрозненных диагнозов, результатов анализов и показаний, почти утратив надежду, блондинка угодила на прием к одной знаменитой старушке докторше. Та изучила ее пухлое, способное конкурировать по толщине с уголовным делом начинающего актуального художника досье, пожевала губами, отослала ассистентку и, сняв очки, посмотрела на блондинку внимательно:

— Муж вам доверяет?

— Вроде да, — кивнула блондинка, не понимая, куда старушенция клонит.

— Главное, чтобы муж верил, что ребенок от него, — сказала докторша, многозначитель-

но глядя на блондинку. — У нас, женщин, ведь все от настроения зависит. Одна моя пациентка десять лет не беременела, а потом на встрече одноклассников свою первую любовь встретила и... — Докторша надела очки. — Прекрасный, здоровый мальчик. Два годика уже. И муж счастлив.

После того разговора блондинка осмотрелась и обнаружила кандидата. Американский сосед. Спортивный мужчина пятидесяти с небольшим, отец четверых детей, разведен, богат, хорош собой. И молодиться перед ним так ретиво не надо. Прекрасные гены для их с Курицей наследника. Вот только фотографировать любит, ну так все не без странностей.

Она не изменила. Наоборот, принесла себя в жертву. Специально нашла мужика не в своем вкусе, чтобы не влюбиться, но и не уроды, таких принято считать красавцами. Она же не виновата, что не может зачать от Курицы. От другого смогла. Пожертвовала своим телом. Беременность для дамы ее статуса и возраста не развлечение. А беременность в такое время вдвойне обременительна. В родной стране того и гляди пойдет трещинами стабильность, патронов ее выпихнут из насиженных гнезд, а у новых властителей вполне могут оказаться

свои фаворитки-общественницы. Но она панике не поддается, курс не меняет, напротив, изыскивает возможности для осуществления намеченного. Планирует родить в Америке, чтобы ребенок гражданином великой страны на свет появился. С таким ребенком и они с Курицей смогут Россию без труда покинуть, если полыхнет. Да она настоящая героиня!

И почему она родилась женщиной?! Это так несправедливо — быть женщиной. Баба рождает, чтобы ее не сочли больной. Из-за отсутствия фантазии. От желания наследить в мире, вроде как свое имя вырезать на скамейке. Чтобы привязать мужчину, не ощущать себя несостоявшейся, если нет денег или положения. Чтобы отвлечься от депреса, а у нее, наоборот, депрес от одной только мысли о беременности. Рожать, терпеть, ухаживать, выслушивать, поддерживать, воспитывать. Ради чего? Чтобы в старости помог колесо помянуть? стакан воды подал? Она достаточно обеспеченна, наймет сиделку.

Курица груб. Невнимателен. Думает только о своей никчемной карьере. Девку эту голую рисует уже полгода, крест на нее надел и шапку церковную, а зачем — сам не знает. Не может объяснить, что хочет выразить. Говорит,

политическое высказывание. Когда закончит, неизвестно, но он уже волнуется, ждет преследований, готов политического убежища просить, боится, как бы на родине за святотатство не арестовали. Пройдет несколько лет, он так и не прославится и пополнит толпу мужчин-неудачников среднего возраста. Тех, кто первую половину жизни ждет наступления счастливого будущего, а вторую – жалеет об упущенных возможностях.

Ее идеал – семья, в которой муж и жена трахаются, с кем пожелают, и честно рассказывают друг другу о своих приключениях. Ложь и тайны разъедают то, что в телешоу называют «отношениями». Но не может она взять да и рассказать Курице, что носит не его ребенка. Он не настолько передовой. Не хочет она ставить его перед таким выбором. Он, чего доброго, примет ее такой, какая есть. А это и будет самое отвратительное. Слабый мужчина, который со своей бабой совладать не может. Если он и такой, то не она откроет в нем эти качества.

«Прости. Психанул. Очень тебя люблю», – он написал ей эсмэску в соседнюю комнату.

Услышал сигнал ее телефона.

Вскоре и его телефон просигналил.

«Я беременна, а ты орешь на меня. Что будет, когда я рожу? Ты бросишь меня с ребенком. А я на старости лет буду с ним нянчиться».

Она написала это, а думала о другом: если бы ему так не приспичило быть папашей, она не была бы вынуждена идти на ухищрения, ложиться под хлыща из пентхауса. Хотя тот и рассказал кое-что полезное о рынке акций. Да и в постели оказался не промах. Все-таки свежий воздух и здоровое питание имеют значение.

Получив сообщение, Курица вздохнул, как перед работой, которой нельзя избежать, но которая не столько трудна, сколь занудна, вздохнул и стал писать про свою минутную слабость, про то, что он несказанно счастлив, что наконец случилось то, что случилось, что он благодарен и... Он хотел что-то еще написать, но из закровов памяти высунулась утренняя фотография. Курица помрачнел, ничего больше к посланию не прибавил и отправил как есть.

— Ты меня любишь? — Блондинка подошла и заглянула ему в глаза.

— Люблю, — ответил Курица, отворачиваясь.

— Правда? — Блондинка развернула его лицо к себе, как монитор. — Почему ты со мной? Я же старая.

– Ты меня возбуждаешь, – не соврал Курица.

– Не надо нам ссориться. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что мы серьезно друг к другу относимся, и не ушел от нас.

Они обнялись.

– Я чувствую, у тебя все получится с этим рестораном. Это будет модное место. Ты станешь знаменитым. Он в тебя поверил, ты наверняка талантливый.

– Я сейчас туда собираюсь. Пойдем вместе.

– Ты правда хочешь, чтобы я пошла с тобой?

Эта ее дурацкая манера сомневаться в его искренности. И как в ней сочетается умение руководить и эти приступы сомнения?

– Хочу.

– Только голову помою.

– Ты же мылась недавно.

– Голову не мыла.

– Минут за десять-пятнадцать успеешь?

Я хочу пешком, нет настроения за руль садиться.

Блондинка радостно кивнула и заперлась в ванной. Через полчаса он стучался к ней в дверь. Раскрасневшаяся, с распущенными волосами, блондинка вырвалась к нему в клубах пара. словно из кипящей кастрюли выпрыгнула.

— Я ужасно выгляжу!

— Может, тебе не ходить?

— А что мне, дома торчать все время?! Хочешь, чтобы я девять месяцев дома просидела, пока ты будешь веселиться?!

Курица опустил взгляд в пол. Оттуда, с полированных каменных плит, улыбался дог с фотоаппаратом.

Он больше не торопил ее и не заметил, как она, поменяв три платья, оказалась на улице вместе с ним.

— Я пойду с мокрыми волосами! — жертвенно заявила блондинка.

— Заболеешь, — отрешенно ответил Курица.

— Ты же меня торопишь!

Дома придавили газоны, водопроводные трубы прошили. Трубы были выпущены перед домами красными и синими петлями. На петлях узлы-вентили. Фонарные столбы пришили асфальт, чтобы, когда налетит ураган, эти декорации не снесло и земной шар не остался голым и убогим, как картофелина.

Улицу затапливало. Сильный прилив. Вода поднималась из сточных отверстий, образуя на тротуарах и проезжей части порядочную акваторию.

– Я перенесу тебя, – предложил Курица.

– Не надо, надорвешься.

Курица поднял ее на руки и пошлепал вброд в своих вьетнамках.

– Голова кружится, давай я сама пойду.

– Еще чуть-чуть, тут вода, – Курица не выпускал блондинку.

«Голова кружится? Потерпишь! Смотри, как я тебя несу на руках. Как невесту». Он нарочно держал спину очень прямо, чтобы показать и ей, и прохожим, что ноша совсем не тяготит.

– Тебе хорошо? – спросил он ее.

– Меня тошнит, но мне хорошо.

Одной рукой она обнимала его шею, другой касалась груди. Запах ее волос окутывал и дурманил. Он почувствовал к ней такую нежность, что захотелось превратиться в этот запах.

Навстречу шел видный парень. Он улыбнулся им.

– Видел, как он на меня посмотрел! – обрадовалась блондинка, забыв о дурноте.

Она не знала, зачем жить, если не нравишься мужчинам, если не чувствуешь их любви. Курице захотелось бросить ее на тротуар, в воду. Шмякнуть об асфальт. Лужа кончилась, но Курица продолжал нести.

— Ну хватит, поставь меня.

Курица не слышал.

— Меня укачивает!

Она ударила его кулачком в грудь, только тогда он очнулся. Она недовольно соскочила с его рук.

«Если пройду до той плиты за два шага, то скоро все позабуду... Как мерзко выглядят корешки пальм у самой земли... Сотни переплетающихся корешков лезут из-под кожицы-коры, словно черви... Если светофор загорится через десять секунд, то мне показалось... Раз, два... загорелся...»

— Почему мы не взяли такси? — спросила блондинка. — Пока дойдем до остановки, изжаримся.

Он не взял такси, чтобы не разговаривать с водителем. Не объяснять, куда ехать. Тут всего три остановки. Зачем такси? Он просто хотел пройтись. Кто ее просил увязываться за ним? Пусть теперь шкандыбают!

Ее каблучки стучали по бетонным, кое-где вывороченным корнями узловатых деревьев плитам тротуара. Вдруг она взмахнула руками и сделала два неловких шага. Вспышка бешенства озарила его сердце. Захотелось толкнуть ее, поддать ей хорошенько, чтобы кувыркком полетела.

Он поймал блондинку за талию и, когда ему показалось, что опасность миновала, отпустил. И тут она упала.

Сморщившись, опершись на его руку, поднялась на ноги. На колене розовела небольшая ссадина.

– Больно? – участливо спросил Курица и погладил ее по заду. Почему по заду? Под руку попался. Не по ушибленному же колену гладить.

– Убери руки... пожалуйста...

Обжегшись ее ненавистью, Курица отнял руку.

– Все твоя спешка, – процедила блондинка.

– Хочешь, вызову сюда такси, поедешь домой?

– Не хочу домой!

– Но если у тебя нога болит...

– Не болит у меня нога! Сначала вытащил меня из дома, а теперь заставляешь возвращаться?! Наказываешь меня, да?!

Она перекосилась и зарыдала. Курица остановился. Он так возненавидел ее в этот момент, что боялся идти с ней рядом.

– Что ты стоишь?! Пойдем, а то в ресторан свой опоздаешь! Не прославишься! – выла блондинка, всхлипывая.

Проходящий мимо толстяк посмотрел на них, а потом еще обернулся несколько раз. Из ближайшего домика вышла квадратная мексиканская тетка. Блондинка, будто специально, рыдала все громче и громче.

В автобусе напротив них устроился черномазый балбес. Шорты, майка, мускулы, кроссовки. Ноги вытянул.

Блондинка ногу на ногу положила. Мысок ее босоножки и кроссовка черномазого покачивались в сантиметре друг от друга. Курица смотрел на ее ноги, на свежий педикюр, на здоровенный «рибок», и стало ему казаться, что ноги эти, белая и черная, одна к другой тянутся. Весь мир превратился для Курицы в это крошечное, размером со злополучную картинку, мелькающее расстояние. «Вот сейчас. Сейчас коснется».

Но они все не касались. И ног не отводили, и не касались. Будто нравилось им так балансировать на грани. Скорее бы уж стукнулись, тогда черномазый убрал бы свою, блондинка бы смутилась и свою отодвинула. Но нет, не стучаются. Решили его, Курицу, довести.

— Давайте уже! Чего мнетесь?! — крикнул Курица черномазому.

И совершил нечто невообразимое: схватил парня за щиколотку, блондинкину ногу схватил и начал их сталкивать. Черномазый аж съехал с сиденья совсем не мужественно, блондинка завизжала. Курица соединял их ноги, будто порванный электрический провод или подвесной мост, оборвавшийся прямо под ним. Веревки рвутся, и его сейчас разорвет. Курица не чувствовал, как черномазый лупил его свободной ногой, как блондинка старалась расцепить его пальцы. Он только приговаривал: «Давай, не стесняйся» — и сжимал две щиколотки тисками рук.

Обошлось без полиции. Курица никому вреда не причинил, зато сам получил несколько хороших ударов. Голова гудела, правое ухо, с отпечатком подошвенного слова Reebok, горело, и бешеная радость жгла изнутри. Курица ожил, будто барахлящий телевизор, по которому стукнешь — и работает.

— Я видел фотографию, — сказал Курица, когда они остались одни на пустой остановке.

— Какую фотографию? — вильнула блондинка, стараясь перегруппироваться.

— Твоя почта была открыта прямо на его письме. Там была фотография.

Блондинка вся стала камнем.

— Я специально это подстроила.

— Что?

— У тебя слишком комфортная жизнь. Я тебя изнежила. Из-за этого у тебя кризис. Тебе не хватает стресса, трагедии, как у настоящего художника, как у Модильяни, у Ван Гога.

Курица пошел в сторону. Захотел предупредить, что не придет на встречу по поводу развески своих картин, но не смог — забыл мобильник в квартире.

Курица повторял шагами сетку улиц, линовал город параллелями и перпендикулярами. Прямо. Направо. Прямо. Налево. Послеобеденное солнце палило с удвоенной силой. Раскаленный шар напоминал не в меру усердную любовницу, которая решила показать все трюки.

Дорогу преградил парк. Миновав черный пруд с огромной бронзовой рукой, он отдался извилистой, мощенной желтым камнем дорожке. Толстые слоновьи стволы с морщинами на локтевых сгибах ветвей, пятнистая гладкая кожа, ржавые подтеки из трещин. Деревья накрыли его пушистыми крылами.

Вспомнился поздний вечер. Больше полугода назад. Блондинка улетела в Москву на очередное награждение. Он остался здесь по-

работать. Парк, как и теперь, был пуст. Черный пруд блестел, дорожки исчезали за поворотами. В тот вечер он встретил ее.

Платье напоминало пакет с фруктами, который вот-вот лопнет от натяжения, и дыни-беглянки покатаются по рыжему иерусалимскому камню. Она цокала по темным дорожкам. В сумочке — полбутылки виски.

Они толком и знакомы не были. Когда-то виделись мельком. В России. Но узнали друг друга и очень обрадовались встрече. Она приехала на каникулы.

Не сговариваясь, выбрали лавочку. Сели. И между ними что-то такое стало происходить. Натягивалось, надувалось, лопалось и снова натягивалось.

Она сказала: «Хорошая погода».

Он ответил: «Здесь всегда хорошая».

Она предложила глотнуть из горлышка.

Он согласился.

Она сняла туфли. Хороши высокие каблукки, только ветки мешаются.

Возникла пауза.

Еще по глотку.

Она посетовала, что нет парка, посвященного всем мировым злодеям. Всем антигероям. Мемориальный парк Вселенского Зла. Парк

жертвам Добра. Там могли стоять памятники Каину, Калигуле с Нероном, Ироду, Маркизу де Саду, Джеку-Потрошителю, Гитлеру.

Он развеселился и предложил добавить памятники жертвам уничтожения Содома и Гоморры и жертвам Потопа.

Тогда не обойтись без мемориала Иуды.

И маленького музея Змия.

Посмотрела бы она на Авеля, если бы Каин его не убил. Никакого Авеля просто бы не было. Кто теперь был бы козлом отпущения, не будь Ирода и Нерона. Где бы мы сидели сейчас, если б не Гитлер.

Парк был посвящен памяти жертв Холокоста. В его середине из черного пруда торчала массивная неказистая рука из металла зеленого цвета, которая не то возносила, не то пыталась уволочь на дно множество маленьких, корчащихся человечков, видимо, тех самых жертв. Мрачным бастионом чернела стена с увековеченными на ней именами.

Что и говорить, не сотвори негодяи в черных кожаных плащах всех тех злодеяний, которые они сотворили, не сидеть бы им теперь под сенью прекрасных деревьев в этом замечательно обустроенном парке. А сколько таких парков разбросано по планете. Сколько

прекрасных мест появилось в ответ на преступления. Что и говорить, у маньяков и живодедов перед человечеством большие заслуги, в основном, правда, невольные.

Он откинулся на спинку скамейки с семи-свечником-менорой и слушал увлеченно.

Вроде евреи умные люди, а сами приписывают Создателю какую-то половинчатость. Добро — все, что сытно и уютно, зло — то, что нарушает наш покой.

Новый глоток.

Она очень любит этот парк и даже приводила сюда мужа, который сейчас остался в отеле, устал от перелета. Но у мужа ничего не получилось. Нервничал, постоянно оглядывался на стену с именами. Боялся, что мертвецы смотрят на них двенадцатью миллионами глаз.

— У тебя кто-нибудь есть?

— Жена.

Помолчали.

— А у вас с мужем дети?

— Семеро. На том свете. Раньше абортыв делала, а теперь начались выкидыши. Сейчас бы ни за что аборт не сделала, если б залетела.

Хотелось бы ему научиться так легко говорить обо всем.

— Ты кого хочешь — мальчика или девочку?

— Мальчика... Любишь жену?

— Очень. Не представляю жизни без нее.

А ты своего?

Он был спокоен, только громкость собственного голоса никак не мог настроить: его слова звучали то слишком тихо, то вырывались с хрипом.

— Я к своему привыкла.

Опять что-то неразрешенное повисло в воздухе.

— Можно я пописаю?

— Будь любезна.

— Извини, это все виски.

Нырнула в заросли. Оцарапалась. Визг, ругань, шелест струи.

— Слышно?

— Слышно.

— Ну и плевать! — И хохот из кустов.

Потом она засобиравалась.

Пошла вдоль черной стены с миллионом имен. Между ними задрожало от напряжения. Он схватил ее за плечо. Сгрел. Залепил ей рот губами. Размазал ей губы. Ее колотило. Она закрыла глаза, перестала быть человеком. Поплыла, собой владеть перестала, будто он ее в челюсть двинул. Он смял ее. Задрал платье.

Лопатки ее вспархивали, ложбинка спины извивалась. Он толкал ее прочь, чтоб не привязаться, не запасть, не влипнуть навсегда, а потом притягивал, подтаскивал, прижимал. Она опиралась о черную стену, шарила за спиной, вцеплялась в него, вжимала, вбивала его в себя. Пуговицу с его заднего кармана оторвала.

В полированном черном камне, погружаясь и выныривая, дрыгались их двойники. Высеченные имена колыхались над ними. Бесовские скачки, шевеление на дне могилы. Нет ничего слаще попраiania, ничего прекраснее надругательства.

Он все ближе к обрыву. Попробуй удержись. Побалансируй. Чем дольше, тем труднее. И тот, который в стене, не протягивает руки, не помогает, а дергается. И та, которая в стене, голову растрепанную уронила. И вдруг он увидел блондинку. В отражении. Не случайная знакомая изнемогала под его ударами, а его блондинка. И тело ее, и лицо родное под упавшими кудрями. И он обрушился. Падал и летел и счастлив был совершенно.

Потом он был один. Поднял голову, а там небо. И звезды падающие чиркают. Одна, вторая. Надо бы домой, пока по башке не попало. Он пошел. Оказался в лабиринте стриженных

кустов. Заблудился. Дорожка разветвлялась. Направо, налево. Жесткие ветки цеплялись. Из последних сил он подпрыгнул, надеясь осмотреться, но кусты были слишком высоки и даже, кажется, подросли во время его прыжка. Ветки стали гуще, щекотали его, оплетали, тыкались в глаза, лезли в уши и рот. Он побежал напролом.

Жирные белые какаду орали и топорчили желтые хохолки. Зелено-красные розеллы носились между веток. Одна серая птица копошилась в палой листве и все задирала наверх голову, будто опасалась, что кто-то плюнет ей на макушку. В густой зелени над головой зашебурились зверьки, шмыгающие туда-сюда, будто мелкие торговцы в московском метро, завидев полицейского. Пернатые издавали мелодичные трели, точно дверные петли в какой-нибудь музыкальной школе.

Тогда, несколько месяцев назад, он запихнул кипящую лаву обратно в себя. Задраил крышку так, чтобы ни ветерка, ни свистка. У нее муж, у него блондинка. Он все сделал правильно. Дал цветку распуститься. И вовремя срезал. И в вазочку поставил. Рядом с другими. И блондинка поступила так же. Чик — и в шкатулку с воспоминаниями. Они оба не ста-

ли обманывать друг друга. Взяли себя в руки. К чему эта жизненная аритмия? Они друг друга уважают. И любят...

Поглазев на витрины, блондинка вернулась в квартиру. Кожаный диван, дубовые стулья, купленные вместе с диваном и дубовым столом. Кровать с пятном на спинке. Барная стойка из цельной мраморной плиты. Люстра. Девка раком у стены.

Сто женщин из шестисот семидесяти тысяч умирают при родах. Маточное кровотечение невозможно остановить. После тридцати пяти опасность смерти при родах резко возрастает. В случае кесарева сечения существует риск повреждения мочевого пузыря и кишечника на всю жизнь. И все это, чтобы обмануть Курицу и сделать его счастливым.

Солнце беспечно плюхнулось за небоскребы, в пышные объятия облаков — заговорщиков. Облака придавили светило. Брызнуло оранжевым и сиреневым. Повсюду разбросались фиолетовые тряпки, стайки перистых облачков любопытничали издалека. Самолетик вспорол налитое небесное брюхо, вывалились белые потроха. Краски смешались, и стало черно. Зажглись фары, окошки и фонари.

Она включила ноутбук, открыла фотографию. Посмотрела – и удалила. И стала сидеть на стуле просто так.

Булькнул телефон. Его телефон. Забыл, наверное. Новое сообщение осветило экран. Блондинка взгляделась. Кто это ему пишет?

Прочитав сообщение, она посидела немного, а потом вышла на балкон. Она смотрела на пальмы и домашние деревья у соседей. На задернутые шторы и опущенные жалюзи. Повсюду люди, которые не знали о ней и не испытывали к ней любви. А она всех любила. И всех жалела. Океан дул в лицо, будто она была свечой на торте, приготовленном специально для океана.

Она пошла в ванную. Душ сразу сорвало, едва она открыла кран. Она стала поливать тело прямо из шланга, гладила шею и грудь. Она стала ласкать себя струей. Изнуряла себя наслаждением. Когда ей сделалось невмоготу, она сунула шланг в себя.

Курице часто снится, что он ходит по русскому лесу, по его упругой земле. По мху, по зеленой траве, палой хвое, сухой листве. В ту ночь он тоже бродил по лесу и вдруг услышал какой-то хруст. Из-за деревьев, переступая

конверсами через папоротники, отводя ветки, показались рассерженные горожане. Ботаники, очкарики, дохляки, бездельники, умники, книжники, завсегдагаи Пикника «Афиши», вся интеллигентская шушера. Представители креативного класса обходили Курицу, не обращая на него внимания. Они были вооружены. Игроки в петанк и серсо несли на плечах старомодные пулеметы Дегтярева, худосочные веганы катили «максимы», волокли базуки и «калаши», «стечкины» и «вальтеры». И никто не замечал Курицу, будто не он был хозяином сна, а подглядывал за общим сном других.

Они шли, и конца им не было, будто где-то в темной чаще огромная хипстерская матка все метала и метала икру... И тут Курицу кто-то за плечо тронул. Он испугался ужасно. А в руках ружье. Курица развернулся и пальнул. Когда на спусковой крючок жал, видел, кто перед ним. Поганый молодящийся дог. Торс античный, кубики, и весь в капельках, будто только с тренажера слез или с бабы. И улыбается, и мышцами груди, литыми, так помаргивает, с издевочкой, типа хо-хо. После выстрела пригляделся, а перед ним девушка лежит, которую он в парке повстречал. В том же лопающемся платье. И ребенок где-то смеется. Осмотрелся,

глядит, не в лесу он больше, а в помещении. И даже как будто в их с блондинкой американской хате. В ванной. Пытается душ починить.

Очнувшись, Курица обнаружил себя завернутым во фланелевую простыню, слипшимся, скомканным, теплым. Лепестки жалюзи шелестели под дыханием океана. Утро сочилось в комнату. Шумели первые автобусы, стрекотала пила садовника, гуляки, возвращающиеся с ночных попок, издавали неуместные возгласы. Он упирался головой в спинку кровати. Прямо в пятно.

Отдышавшись после гнусного сна, он несколько раз смачно моргнул и подумал — хорошо, пожалуй, что он пристрелил и его, и ее. Не будут мешать тихому домашнему счастью. Уют, привычный уклад, знакомые тропинки, регулярный утренний поворот направо, где лежит блондинка и только и ждет, когда он ей вставит. Он прощает ей все. И себя прощает. Зачем отгораживаться ревностью и обидами. Они всегда будут рядом. Он полюбит ребенка. Уже полюбил. Не нужна им другая любовь со своими абразивными свойствами.

Некоторая даже благодать снизошла на него и успокоила. Он протянул руку вправо — пусто. Блондинки не было.

В такую-то рань.

Когда он вернулся накануне, она уже спала. Или притворялась. Теперь через открытую дверь был виден отблеск света из соседней комнаты.

Блондинка сидела в кресле и шила. Рядом с ней были аккуратно разложены металлические пружины, гора белых синтетических комков и множество цветастых лоскутов, напоминающих о матрасе. Матраса между тем нигде не было. У стены нет, в холле не видать.

— Который час?

— Полвосьмого.

— Что-то ты рано вскочила.

— Захотелось что-нибудь сшить.

Блондинка показала почти законченное, размером с новорожденного, существо с четырьмя лапами. Голова имела вмятины и шишки, как у какого-нибудь бедолаги журналиста, которого поколотили битами в ночной подворотне.

— Тебе нравится?

— Прямо ребеночек!

Блондинка прижала розовое в цветах существо к груди, покачала. А потом показала его телефон:

— Это от кого?

Он прочитал сообщение, пришедшее накануне, когда он был в парке.

«Утром родила тебе сына. Пока».

Трубы, прошивающие газоны, лопнули. Фонарные столбы, пришпиливавшие асфальт, повылетали. Асфальтовые дороги, стягивающие Землю, разорвались. Океан оказался наверху, сердце выскочило из нагрудного кармана и поскакало, и только он собрался схватить его, как океан бухнулся.

— Хочешь поддержать?

Блондинка протягивала ему куклу.

— У меня начались месячные. Я больше не беременна.

Курица смотрел на игрушку.

— Что у тебя с руками?

Кожа между большим и указательным пальцами на обеих руках, особенно на правой, была стерта до мяса. Шутка ли — разрезать ножницами целый матрас. Блондинка посмотрела на свои ладони:

— А я и не заметила.

Когда он склонился над ее руками, она вдруг прижала его голову к себе. Ему было неудобно стоять, но он замер, как по утрам, когда она на него свою ножку во сне закинет,

а он не шевелится, чтобы ножка подольше так оставалась. Скоро Курице показалось, что его макушка начала мокнуть.

Курица смотрел на город. Вчерашняя вода ушла, тротуары и улицы были сухи и поблескивали только у кромки бордюров. Небо наглухо замостилось выпуклыми облачками, под которыми ползло солнце. В каждом окне, за каждой шторой, за жалюзи просыпался, ворочался, умывался человек, который не знал о нем, не любил его. А он любил всех. И всех ему было жалко. Океан дул на него, точно Курица был свечой на торте, приготовленном специально для океана.

Он перезвонил по номеру, с которого пришло сообщение. По номеру той, встреченной в парке. Это она написала.

Номер был заблокирован.

Вокруг бассейна натянули предостерегающую желтую ленту. Вода была спущена, и только в одном углу опустевшего резервуара возился механик – таракан, упавший в пустую кастрюлю.

С чего он взял, что блондинка залетела от дога... Это мог быть его ребенок...

В дверь постучали.

Блондинка отперла.

— Доброе утро, мэм! — заявил с порога забродивший изнутри попрошайка-Маркес. — Мы вчера с вашим мужем обсуждали матрас.

Дворник пролез в квартиру, оттеснив блондинку запахом отбросов.

— Помню эту квартиру, здесь бразилец жил, а до него массажистка с дочкой. Она клиентов принимала. — Дворник многозначительно посмотрел на блондинку своими мясистыми глазами.

Он хотел сказать что-то еще, но умолк, увидев гору розовых лоскутов, кубики поролона и пружины.

Дворник выпятил губы, подобрал их и снова выпятил. Сделал губами круговое движение. Целую губную зарядку изобразил. Покосился на руки блондинки, на сшитую ею игрушку.

— Вижу, вы без меня управились, — пробормотал дворник и попятился в дверной проем, будто боялся, что дверь захлопнется и он останется наедине с этой женщиной, которая накануне вечером пустила в себя струю воды такой силы, какую только можно было извлечь из крана. Чего ждать от женщины, которая баловалась с водой до тех пор, пока не потекла

кровь, и потом еще некоторое время, чтобы наверняка. А потом взяла да изрезала королевского размера матрас в лоскуты. И сшила четвероногое существо. Дворник не знал и не мог знать подробностей, но тоска вдруг окутала его и выпихнула вон.

— Я фотографию стерла, чтобы быть честной. А потом прочла это сообщение. Я никогда не читаю твои сообщения. Но тут почувствовала. Меня никто так хорошо не фотографировал. Чтобы морщины не были видны и живот. Пока женщина может родить, ее все хотят. А я теперь — перегоревшая лампочка, даже фотографии не осталось. Только работа и старость.

Курица воткнул флешку и открыл сохраненную накануне картинку. Пусть у нее будет фотография. Ему не жалко.

С холста, прислоненного к стене, смотрела убитая им во сне мать его сына. Курица только сейчас понял, что изображенная девушка — точь-в-точь встреченная девять месяцев тому назад в парке. И лицо, и прочее. Курица выдавил на палитру несколько тюбиков и быстрыми мазками оплодотворил сучку. Вырастил ей пузо. А внутрь поместил четвероногое существо со смятой башкой.

Блондинка и Курица долго шли. Сначала вдоль домов, потом вдоль океана. Потом стояли у океана, им хотелось, чтобы океан лизал им ноги. Когда-нибудь они станут густой травой, хвоей и мягким мхом, миром, где нет предательства и любви. Станут океанскими волнами и будут лизать ноги кому-то другому.

Океан дул изо всей мочи, так дул, будто они были свечами на праздничном торте, испеченном специально для него.

КРЕЩЕНСКИЙ ЛЕД



На следующий день после праздника Крещения брат пригласил к себе в город. Полгода прошло, надо помянуть. Я приоделся: джинсы, итальянским гомиком придуманные, свитерок бабского цвета. Сейчас косить под гея — самый писк. В деревне поживешь, на отшибе, начнешь и для выхода в продуктовый под гея косить. Поверх всего пуховик, без пуховика нельзя, морозы как раз заняли нашу территорию.

Только выхожу за ворота, а староста нашей деревеньки Петрович тут как тут. Весь православный люд ночью окунулся, я же святым ритуалом манкировал. В жизни не окунался. Холодно. Староста описал ночное купание весьма живописно.

— Да ты окунись, окунись! Я вижу, у тебя крестик на шее, — говорил по-свойски староста, хотя на шее у меня в тот день, кроме трех-

дневного засоса, да и тот глубоко под шарфом, ничего не было. Я спорить не стал, эти верующие сейчас такие ранимые, только их чувства оскорбишь, они тебе петлю на шею вместо крестика. Петрович в очередной раз что-то мутил:

— Надо нам объединяться... — произнес он и многозначительно умолк.

— А что случилось? — спросил я, беспокойно поглядывая в сторону остановки — как бы автобус не пропустить.

— Дай им волю, они наше озеро засыпят и синагогу поставят или памятник Холокосту своему. — Он кивнул на дом между его и моим: — Вон, в Птичном, уже детки черненькие по улицам бегают!

Все жители деревеньки нашей считают владельцев дома, что между мной и Петровичем, евреями. Слух пустил Петрович. Не без участия моей матушки. Они вместе обсуждали какие-то вопросы деревни, канаву, что ли, водотводную копать общими силами собирались, и «евреи» отказались деньги на канаву сдавать. Канаву так и не выкопали, а слушок пошел. Матушку мою не нагреешь, она еврея за версту чует. «С папашей вашим обожглась, зато поумнела», — говорит она нам с брательником, когда вместе собираемся. Думаю, мать права: домик

и людишки тамошние очень странные. Одних телевизионных антенн пять штук висит. Как на радиолокационной базе, ей-богу. Ну ладно две — одна для обычного телевизора, другая для еврейского, но пять-то зачем? Да и с нами у них нехорошо получилось, спор из-за земли вышел. Петрович сделал неправильные замеры, евреи, или кто они там, поставили забор, но вскоре обнаружилось, что забор сдвинут на полметра в нашу сторону. Петрович сразу позабыл, кто замерял, и накинулся на евреев с обвинениями. Мол, нечего было спешить забор городить, надо было сначала геодезистов вызвать, чтобы они все по спутнику выверили. Так переполошился, будто у него землю оттяпали, а не у нас. Но на то евреи и евреи, чтобы первым делом ото всех отгородиться. Боятся они всех, что ли, или скрывают чего? Короче говоря, хоть староста и ошибся в замерах, но землю у нас оттяпали незаконно, по-еврейски как-то. Приезжали комиссии, перемеривали, пришлось евреям забор передвигать. Передвинуть передвинули, но осадочек остался.

С тех пор Петрович, у чьего деда еврейские комиссары в свое время отобрали мельницу, взялся за дело всерьез и стал выводить на чистую воду все их еврейские секретки.

То они в лес мешки с химическими отходами сбрасывают, то в гараже своем поддельную стеклоомывательную жидкость разводят.

Обеспокоенная нарастающей в деревне антисемитской кампанией, тамошняя женщина с горбинкой, в смысле, что на носу у нее горбинка, еврейская женщина, короче, позвала нас с матерью на чай — продемонстрировать свой миролюбивый настрой, а заодно и то, что никакого подпольного цеха они не держат и радиоактивных отходов не хранят. Плюс загладить инцидент с землей. Дом оказался довольно путаным, с какими-то ходами и переходами, которыми женщина очень гордилась, но главным моим впечатлением стал не дом и не зефир в шоколаде, а знакомство с отопительной системой.

Система располагалась в цокольном этаже и представляла собой помещенный в желоб длиннющий и достаточно широкий в обхвате винт, наподобие тех, что крутятся в мясорубке. Винт этот следовало кормить дровами, которые он сам перемалывал и отправлял в топку. Она и нагревала жидкость, бежавшую по трубам еврейского дома. Хозяйка торжественно включила механизм, и тот начал с хрустом крошить поленья из русских березок и отправлять их

в огонь. Хозяйка раскрыла перед нами топку. Пахнуло так, что ресницы оплавилась, и мы отскочили. Показалось мне в то мгновение, что гостеприимная еврейка — на самом деле коварная колдунья, которая заманила нас и теперь изжарит, подаст своему сыну и всему своему кагалу на ужин, и обглодают они мои бедные, тоже, надо признаться, не совсем русские косточки, и закопают тайно в лесу, и только Петрович будет об этом знать, да никто ему не поверит.

— Перемальвает и сжигает! — ликовала хозяйка. — А золу на огород!

Тут гигантское сверло заскрежетало, взвизгнуло и замерло. Стали изучать, ничего не поняли.

— Надо вызвать мастера, — заключила мать и заторопилась.

Мы поспешно откланялись. Позже узнали, что хитрый механизм заклинило — подавилась еврейская машинка русскими березками. Исправление агрегата встало бы так дорого, что решено было заменить систему отопления на обыкновенную электрическую, на огород ничего не сыплешь, зато работает. Почивший же дьявольский винт так и остался в доме, демонтаж его требовал разрушения стен. Топку тоже решили не трогать, приспособили для

сжигания мусора. Наверняка и токсичными отходами не брезгают, нет-нет да сунут в огонь что-нибудь токсичное.

У матери с евреями особые отношения. Из-за моего папаша. Никаких памятников Холокосту он в жизни не строил, его проект участвовал однажды в конкурсе на очередной такой памятник, но не выиграл. Отец предлагал где-то в Польше или на Украине огромный крест поставить, но евреи не согласились. А сам он не то чтобы еврей, просто от деда фамилия досталась своеобразная.

Отец никогда себя евреем не считал. Даже на лечение в Израиль ехать отказался. А я милым ребенком был, это потом вдруг шнобель отрос и вся рожа какой-то нездешней стала. Недаром наша еврейская соседка в тот раз все зефиром меня потчевала — почуяла своего. Вообще у меня между отражением в зеркале и внутренним миром большие противоречия. Если б я выглядел, как мой внутренний мир, мог бы запросто викинга в кино исполнять. Тем более мать не еврейка. Из-за чего, кстати, пейсатые меня за своего не признают. Зато все остальные к ним причисляют. А какой я еврей, только нос и фамилия — Израиль.

Братец же мой старший, Серега, кстати, не Израиль, а Подковкин. Хотя с виду он как раз

больший Израиль, чем я, копия отца: шнобель, очки, лысина. Родители ему материнскую фамилию дали, чтобы с институтом проблем не было, а я уже в пору демократических перемен рос. Мальчишкой я однажды спросил мать, почему я Израиль, а не Подковкин, а она ответила ласково: «Не твое собачье дело». Позже узнал: мать в Израиль планировала, там пенсия выше, меня в качестве неопровержимого аргумента растила, приговаривая: «Хоть какая-то польза от папаши будет». Но сборы затянулись. До сих пор собирается.

А Серега Израилем просто не выжил бы. Он и так псих. Я, в принципе, тоже. Но он больше. Наверное, потому, что на десять лет старше. У нас в стране каждое старшее поколение больше не в своем уме, чем последующее. И все в целом психи, потому что родители психи детям диагноз передают.

— Кого отец любил? Маму? Нас? Эту свою, последнюю? Или вообще никого не любил. Не понимаю... — рассуждает Серега.

Я таки до города, до брательника своего, добрался. Сидим перед низким столиком, на котором помимо купленных мною закусок три большие банки соленых огурцов стоят.

— Холынские. — Серега взял одну банку, колыхнул.

Огурцы выплыли сонными рыбами из рассольной мути и стукнулись тяжелыми лбами о стекло.

— Редкий деликатес. На работе ценители угостили. Знаешь, как их солят?

Я покачал головой: секрет засола холыньских огурцов мне неизвестен. А Серега ботан, все знает.

— Есть такая знаменитая деревня — Холынья, там уже полтыщи лет огурцы солят в бочках, которые зимой держат в реке, отчего огурчики просаливаются по-особенному, становятся крепкими и хрустящими, — сообщил Серега, будто читая статью из Википедии.

Тут бы просунуть руку в стеклянный ободок баночного жерла, достать по огурчику, откусить. Серега даже банку открыл, но вовсе не для того, чтобы выудить закуску. Все пространство поверх рассола и под самую крышку было заполнено пышной, пенящейся, словно ванна какой-нибудь телезвезды, плесенью. Только сняли крышку, пена встала шапкой и комнату наполнила густая вонь, от которой, без преувеличения, сразу стало некуда деться. Серега крышку тотчас обратно нахлобучил, но все равно пришлось проветривать. И выпить, чтоб от холода не околеть.

— Папа меня к огурцам приучил. Помню, я малышом был, мы с ним рассаду сажали, потом в парник на майские, а потом рыщешь рукой среди листьев, нащупываешь. Крепкие, колючие немножко, как женская ножка.

Я скопился на Серегу, но он своих аллюзий эротических не разъяснил.

— Давай эту понюхаем. — Серега другую банку придвинул. — Еще он закатывал.

Соление огурцов было папашиной страстью. Хотел быть русее русского, огурцы солил, косой любил помахать, разве что в плут не впрягался.

Серега откупорил банку, на дне которой плавало два-три заготовленных овоща. Гладь рассола покрывал красный бархат. Плесень была не такой пышной, как у холынских, зато радовала редким, богатым цветом. В нос ударил пряный аромат. Поплыли мысли об аэропортах восточных стран и тамошних борделях.

— Меня отец не хотел. Да и мама, кажется, тоже, — вздохнул я без всякой грусти, а скорее с весельем человека, который давно пережил яркое событие и теперь рад: есть чем прихвастнуть. — Пошла делать аборт, и врач просто дал ей таблетку. Ранняя стадия, таблетки достаточно. Через неделю пришла прове-

риться, таблетка не помогла. Тогда назначили процедуру. И тут у них что-то там сломалось, кажется, кресло. Назначили на другой день, но она больше не ходила. И вот он я! Наверное, из-за этого мне никакие таблетки не помогают.

Сергеа покивал не глядя. Я ему благодарен, что не перебивал. Знает он эту историю. Мать каждый мой день рождения ее рассказывает. Серегины воспоминания про огурцы мне тоже наизусть известны. Тем не менее выпили за Крещение и за обстоятельства, позволившие мне родиться на свет. Сработай тогда таблетка, не сломайся кресло в медицинском кабинете — не нюхать мне плесени знаменитой холынской, не вдыхать закисшего папашиного рассола. В третьей банке плесень была и не плесень вовсе. Так, пузыри.

— Нюхнешь? — Сергеа протянул мне банку. — Тоже папашины. Еле от матери сберег, в унитаз хотела вылить!

Матушка наша иногда наведывается к своему старшенькому, прибирается, продукты привозит, ходит с ним в магазин новую одежду прикупить.

Нюхать я отказался. Чего там нюхать. И без нюхания ясно — пахнет кислятиной и нищим прошлым.

Сергея снял крышку. По комнате разнесся тонкий аромат ранней весны, в котором смешивались запахи запревших под снегом листьев, распускающихся цветов и тел усердных дворников, подметающих улицы. Показалось даже, что аромат остановил мороз, лезущий в приоткрытое окно.

Насладившись обонятельной дегустацией, мы прошли по протоптанной по полу дорожке на кухню и поставили банки на подоконник. На место их постоянной приписки. Серега в этой съемной однушке только спит, остальное время на работе, выходные с сыном. Передвигается одними маршрутами, оттого и дорожки образовались. Как на садовом участке. Легко можно вычислить передвижения хозяина: кровать — туалет — кухонный стол — раковина. Тропки различаются довольно явственно, давно мать не приезжала.

— Не могу выбросить. Посмотрим, что через месяц будет. — Серега погладил банки. — Мне иногда кажется, что из этой плесени кто-то родится.

По своим следам вернулись к еде и напиткам. Так, ступая след в след, ходят по снегу и грязи разведчики. Серега из-за своего немного маньяческого взгляда и вправду походил

на еврейского диверсанта, отправившегося по русскому снегу в арабский тыл.

— Думаю, они из-за тесноты разошлись. Однушка, двое детей, ссоры. Мать просто взяла и уехала в деревню. А эта, его последняя, была против того, чтобы мы общались. Боялась, мы на квартиру претендовать будем. Только недавно стали видеться. Он не сразу мне позвонил, когда диагноз узнал. Неудобно, говорил, было, вроде как я ему понадобился, только когда приперло... Знаешь, что он сказал мне перед тем, как... это?..

Брат запрокинул голову, приоткрыв рот и закрыв глаза. Типа умер.

— Он сказал: «Будь здоров».

Мы выпили. И погрузились в думы. Особенно Серега, у него к раздумьям склонность. От умственной натуги глаза его взбухли, морда зажглась бурым.

— А что там, кстати, с квартирой?

— Все этой своей оставил. Я у нее попросил что-нибудь на память. Угадай, что она мне дала?

Серега подошел к шкафу, порылся, вытащил куклу Буратино с тряпичным туловищем, тонкими ручками-ножками-шарнирами из гладкого дерева и круглой головой. Без носа.

— Узнаешь?

Для меня встреча с безносым Буратино стала вроде очной ставки палача с жертвой. Это была любимая игрушка Сереги. Когда я начал ползать, отец решил, что длинный острый нос Буратино опасен для меня, и отрезал его. Положил голову Буратино на колено и спилил ему нос.

Серега протягивал мне Буратино. Деревянные ручки, ножки и изуродованная голова свисали.

— Зачем он это сделал? — спросил Серега.

Так на агитплакатах обезумевшие матери спрашивают фашиста, зачем он заколол штыком их дитя.

— Серега...

— Ты не виноват.

Брат всучил мне куклу, обхватил голову руками и начал тосковать:

— Он говорил, я не его сын. Не похож на него.

— Он шутил, — успокаиваю брата. — Ты вылитый отец. Нос, очки, лысина. Просто он не мог признать, что сам выглядит так же.

— Надо уезжать. Не могу я больше здесь, — сказал Серега, вскочил неожиданно — и к вешалке.

Есть у него пунктик — в даль рвется. В пустошь какую-то. Или пустынь. В леса. По свя-

тым местам. Подальше. Смысла жизни искать. У него это всегда было, но как жена ушла — обострилось. Однажды он аж до вокзала добрался, где я его и подобрал. Проку никакого, только мать волнуется.

Над вешалкой, как специально, картинка висит, забыл, какого художника. Французы в обрывках мундиров, замотанные в какие-то тряпки, бредут сквозь русскую метель.

Я перекрыл дверь своим телом.

— Серег, а давай фотографии посмотрим! — Серега забился в угол, подвывает. В пустошь свою тянется. А я потом за ним бегай. И куда ему, времена не те, не принято теперь босиком с посохом по Святой Руси странствовать. К странникам нынче без всякого респекта относятся: или гопники поколотят, или менты бутылкой из-под игристого оттрахают. Да и простудится он в такой мороз.

— Какие фотографии! Жизнь проходит, а ты со своими фотографиями!

— Наши детские фотографии. Я отсканировал и в фейсбуке выложил. Пойдем, покажу.

Деревянного калеку я сунул под диван. Усадил Серегу. Включили экран. Вот и фотографии. Укутанный по-зимнему Серега с родителями на прогулке, я делаю первые шаги.

Больше нет фотографий. Серега вообще фотографироваться безразличен, а я раньше имел к собственным изображениям большой интерес, но в последнее время как-то поубавилось.

— А ты что-то давно ничего не размещаешь, — я решил отвлечь его разговором.

— Чего размещать-то? — буркнул Серега.

— Давай к тебе на страничку зайдем, разместим что-нибудь!

Зашли к нему на страничку.

— Сколько у тебя сообщений непрочитанных!

Он открыл первое. Одноклассник. Второе — реклама. И целых три от миленькой блондинки, совсем не еврейки. «Вы мне понравились... Вы выделяетесь среди других... Вы такой необычный, интересный человек...»

— Если девчонка пишет, что ты интересный человек, надо звать ее в гости. Кто такая?

— На свадьбе у коллеги познакомились.

Не думал, что он по свадьбам шастает.

Посмотрели ее альбом. Пляж, дача, кругленькая попка, высокий лоб, загорелые острые локти, десятилетний сын. Время, когда начинаешь крутить с матерями-одиночками, наступает незаметно.

— Пиши ей ответ!

— Сейчас нет настроения.

Жена с год как отчалила, а у него настроения нет! Серега целые дни на работе, а остальное время тоскует. Думаю, он влюблен. В девушку, которой в природе нет. Ощутимые девушки, которые вот они, его угнетают.

Серега наступал начало: «Вы мне тоже понравились...»

— Сдурел?! Пиши: «Ты»... «Ты», а не «вы», ломай барьеры одним ударом! «Ты мне тоже очень понравилась, думаю о тебе, очень хочу встретиться, но свалился с простудой, пью кипяток, нет сил выйти в магазин, купить мед».

Написал. Слово «очень», правда, убрал, вышло, что она ему просто понравилась, а не очень. И насчет меда спорил. У него аллергия на мед. Но на меде я настоял. Мед сам по себе настроит блондинку на правильный лад. Проконтролировав отправку письма, я потирал ладони от удовольствия: не успеет он завтра проснуться, как блондинка напишет, что везет свою круглую попку прямо к нему. А завтра как раз выходной. Притворится больным. В случае чего скажет, полегчало от одной мысли, что вот она к нему придет. Я радовался Серегиному грядущему успеху, как своему. Нежеланные дети знают, как надо извернуться, чтобы стать желанными.

— Это что?!

Восклицание мое касалось его семейного статуса, указанного на страничке.

– Женат?! Вы же год вместе не живете! Удивляюсь, что тебе вообще кто-то пишет. Это надо Марией Магдалиной быть, чтобы с женатым связываться! Меняй сейчас же!

– Неудобно. Таня узнает.

– У нее же другой! Меняй!

Для романтики я предложил «вдовца», но Серега отказался. Долго выбирали между «без пары», «в поиске» и «свободные отношения». «Без пары» отдает безнадегой, «в поиске» звучит болезненно. Удачливый джентльмен не может быть в поиске. Он же не какая-нибудь Холли Голайтли, прилепившая на свой почтовый ящик «путешествует». Остановились на последнем варианте.

– Ну ты и еврей, – хлопнул меня по спине новоявленный и сразу осмелевший любитель свободных отношений, отдавая должное моей ловкости в амурных делах. – А чего это у тебя снежинка шестиконечная?

Я свернул голову так, чтобы видеть рукав свитера, на котором вышита снежинка. И вправду, шесть концов. Снежная звезда Давида. А я и не замечал. Ай да Серега, кровинка материнская, не проведешь.

Братан повеселел. Спросил, не окунался ли я уже. Он, видите ли, вчера окунулся в ближайшем водоеме...

В деревню я вернулся на последней маршрутке. От остановки шел мимо пруда. Почему бы в самом деле не окунуться? Так и помру неокунувшимся.

Мать уже спала. Я разделся, только угги и пуховик оставил. И топор взял – прорубь наверняка льдом прихватило.

Подбежал к проруби и все с себя скинул. А мороз такой, что аж небо опустело – звезды попрятались. Подтаявшая днем тропка вся в застывших отпечатках сапог – голым ступням больно. Прямо передо мной лежал черный крест отороченной снегом проруби. Единственный уличный фонарь светил в затылок, и, обладая я незаурядной фантазией, предположил бы, что крест – это тень, которую я отбрасываю.

Ну я и давай рубить. А лед крепкий. Звон, осколки, густо-белые трещины по глади.

– Тебе жалко, что ли? – заискивающе улыбался я то ли льду, то ли воде подо льдом. – Петрович окунулся, все окунулись, Серега и тот окунулся, а мне что, нельзя? Я ничего не испорчу, я из любопытства!

Ноги окоченели, со спины будто кожу содрали. Если увидит кто, не догадается, какого полу перед ним православный, так все съезжилось. Как человек, попавший в неловкое положение, я огляделся с усмешкой, желая показать возможным наблюдателям, что мне и самому смешно. Выходящие на пруд окна домов были темны, но мой стук наверняка кого-нибудь разбудил, и сейчас один из моих соседей вполне может смотреть на меня и потешаться: «Видать, грехи не пускают. Все добрые люди вчера окунулись, а Израиль вон только опомнился! Все, поздно, вчера будьте любезны, а сегодня шиш с маслом!»

Тут окошко еврейского особнячка — бац! — и зажглось. Торшерчик у них там такой, уютенький. А вот и силуэт. Мужской. Значит, один из этих евреев смотрит, как я голый скачу с топором вокруг прорубленного во льду, но замерзшего креста, и как пить дать злорадствует. Сами-то не окунались в святую ночь. А вот если бы прорубь в форме звезды Давида была, тогда б окунулись? Полезли бы эти чернявые носатые очкарики... да, носатые, носатые, носатые!!! Я не виноват, что Буратино отрезали нос! Я не просил! И что брат у меня носатый очкарик, я тоже не виноват! И я носатый!

И фамилия моя Израиль, а не Подковкин! Не знаю, кого больше люблю, маму или папу! Я не виноват, что евреи распяли Христа и устроили в России революцию! Не виноват, что евреи отняли у дедушки Петровича мельницу, убили тысячи русских! А может, даже и миллиарды! Не виноват, что после перестройки евреи все украли! Не виноват, что еврейские танки что-то постоянно обстреливают, еврейские мудрецы жрут детей, еврейские соседи отравляют лес ядерными отходами!

А если в форме свастики была бы прорубь? Полезли б евреи в воду плюс два — плюс четыре градуса Цельсия? Я бы полез! Плевать я на все хотел! Только еврей из меня хреновый. Нормальный еврей если бы и полез, то запасся бы бензопилой, не мерз бы, как цуцик, продолбил бы дыру, не оказался бы в таком дурацком положении.

Почувствовав, что околел нестерпимо, еще немного — и пошевелиться не смогу, я решил бежать с места неудавшегося омовения. Впрыгнул в угги, накинул пуховик, топор в руку — и кинулся по заметенному, будто плесенью покрытому, льду к берегу. Но не по дорожке, которой пришел, а коротким путем, наперерез, прямо к нашей калитке.

«Недаром я, Израиль-Подковкин, атеист. Смешны мне ваши религии! Надо же до такого додуматься — купаться в ледяной воде! Варварство!..» — бубнил я как человек, отвергнутый и убеждающий сам себя в том, что не больно-то и нужно.

Тут лед подо мной и проломился.

В утги хлынуло, словно в трюмы «Титаника», вода обварила тело; почки, печень и легкие скакнули под самое горло и лапки поджали, чтоб не залило. Полы пуховика распластались по сторонам, как подол платья. Цепляясь свободной рукой за обламывающиеся ледяные края, я стал хватать ртом воздух, быстро и вышленно думая, что могу прямо сейчас вот так вдруг взять да и отправиться туда, куда двадцать два года назад меня чуть не отправила таблетка врача, куда полгода как отчалил мой отец. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Я не сразу понял, что погрузился только по грудь, захлебнуться никак не получится.

Вспомнился самый страшный грех наших евреев, о котором поведал Петрович. Используя потайной сток, они сливают в пруд нечистоты. От еврейских ли помоев вода с этого края никогда не замерзает или от того, что ключи здесь сильные бьют, не знаю. Но как я мог про это забыть?!

Тем временем я стремительно превращался в один большой холынский огурец: принятая богом нижняя половина стыла в святой воде, а верхняя, оставшаяся неомытой, начала похрустывать и покрылась пупырышками.

Ступая в чавкающем иле, я двинулся к берегу. Аккуратно, чтобы не наступить на рыбу. Рыбы-то зимой спят, не хотел бы я, чтоб на меня наступили, когда я сплю. А с другими надо поступать так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

Держа, вопреки вопиющему мелководью, топор и телефон над головой, я выбирался из загрязненной евреями, но все же святой воды.

А может, все-таки целиком окунуться? А то выйдет — я подмокший, а не окунувшийся. Да и то как-то все низом пошло. Правда, сточные воды эти, еврейские... Можно снежком обтереться. Снег тоже вода, только не жидкая...

Как был в пуховике, я стал приседать, стараясь омыться целиком, перекладывая телефон из одной руки в другую.

«Я не хотел... прости, Серега... прости, Буратино... я не хотел, чтобы тебя так...»

Выполз на берег. Ледяная тишина гудела. Сосны отморозили носы-сучки.

— Сосед, ты в порядке?

Этот вопрос чуть не спихнул меня обратно. И кто же это?! Еврейский муж! Увидел меня

в окошко и приперся спасать. С мотком автомобильного троса. Хотел меня крюком из нечистот своих выловить.

Запахиваясь, я мотнул топором, закутанный собеседник мой отскочил.

— В-все х-хорошо! Вот реш-шил ок-кунуться.

— Как вода?

Я не ответил, а сосед ткнул пальцем в мою правую ногу.

Оказалось, я выбрался на сушу на одну ногу босым. Правый сапог засосало. Стащив оставшийся, я, неистово шевеля каменеющим телом, под уговоры соседа «не надо» полез назад в ледяной пролом, шаря в колышущемся небе. Звезды от любопытства повылезли и, глядя на меня, мелко тряслись.

Ничего не нашел. Сплошная жижа. Надо будет весной таджика сюда загнать, пусть поныряет.

— Ну, п-пойду, — махнул я соседу и пошкандыбал к дому. Прямо безлошадный драгун, отбившийся от наполеоновского стада. Бреду, дрожа, по земле, где я чужой, и только снежок под ногами хрустит.

Тренък. Эсэмэска. Раз в такое время пишут, значит, важно. Едва попал пальцем по кнопке.

«Она сейчас приедет с медом. Что делать?! У меня ж аллергия».



Когда мне исполнилось семнадцать, под-вернулась подработка в соседнем доме — надо было встречать из школы второклассника, отводить домой, кормить и помогать с уроками. График университетской учебы позволял, деньги были очень кстати — родители едва сводили концы с концами, я сидел без гроша. Не раздумывая, я позвонил по указанному телефону и предложил свои услуги. После короткого телефонного разговора с дамой, представившейся матерью второклассника, я был одобрен без всякой очной ставки и уже на следующий день приступил к выполнению обязанностей.

Гувернером я сделался зимой, заняв место скоропостижно упокоившейся бабушки. Клумбы были погребены под высокими сугробами, носы краснели, на ресницах повисали

сосульки. Моим подопечным оказался беловолосый мальчишка с веселым и легким нравом. Я встречал его у школы из красного кирпича, украшенной белыми узорами на манер торта, и вел мимо зоомагазина. Там даже в самый трескучий мороз топтались птичники, собачники и кошатники со своими коробами, накрытыми теплыми попонами, из-под которых чирикало, тьякало и мяукало. Я переводил маленького блондина через потоки Ленинского проспекта, и, миновав аптеку на углу, мы оказывались во дворе восьмизэтажного дома под номером семьдесят три дробь восемь, где в седьмом подъезде, в трехкомнатной квартире на втором этаже и проживал мой малолетний хозяин.

Отперев дверь и сняв куртки, мы разделялись: второклассник включал мультики, а я читал короткую инструкцию, оставленную на кухонном столе неуловимой матерью. Ознакомившись с ц/у, я извлекал из холодильника тот или иной полуфабрикат, разогревал и звал мальчишку к столу. Забегая вперед, скажу, что его родителей я так никогда и не встретил, и только еженедельные конверты, исправно оставляемые рядом с очередной инструкцией, и забитый холодильник подтверждали их существование. Откуда такое доверие? В самый

первый мой визит мне было велено оставить на комодe паспорт, через день после этого документ лежал на прежнем месте. Каких-либо пояснений я не получил, решив, и, видимо, справедливо, что проверку прошел.

Съев грибной, овощной или мясной суп, расправившись с куриной, говяжьей или свиной котлетой с неизменным картофельным пюре, мы выпивали по стакану какой-нибудь сладкой жидкости и садились за уроки. Решение простейших арифметических задач и элементарное грамматическое упражнение отнимало у нас уйму времени и задерживало меня до вечера. Дело в том, что мой подопечный соглашался приступать к домашнему заданию, только посмотрев какой-нибудь фильм. В первые дни я сопротивлялся, ссылаясь на собственное расписание, а также на то, что фильмы предлагались совсем не детские. После непродолжительного противостояния я вынужден был уступить — без видеосеанса маленький блондин не делал уроков вовсе.

Никогда я не смотрел столько фильмов подряд. Были среди них скучные, попадались и выдающиеся, первые мы проматывали, вторые пересматривали по многу раз. Независимо от качества, все ленты объединяло одно

свойство — злоупотребления и насилие, творимые несовершеннолетними. Картины порока слились в бесконечную череду: вчера — несовершеннолетние употребляли запрещенные препараты, сегодня — несовершеннолетние занимались любовью в составе трех и более человек, завтра — несовершеннолетние употребляли, занимались и вдобавок палили друг в друга из пистолетов.

Часто во время сеансов мальчик останавливал показ и принимался расспрашивать меня об увиденном. Будучи, как мне тогда казалось, нормально развитым молодым человеком, я и сам многого до конца не понимал и на другой день как бы невзначай обсуждал горячий вопрос с приятелями, стараясь не выказывать при этом своего неведения. Все в моей голове перемешалось: персонажи перепутались, очень скоро я уже не мог вспомнить, где именно видел ту или иную поразившую воображение сцену. Во время обсуждений маленький зритель скакал по комнате от дивана к большущему полированному шкафу, изображая особенно понравившиеся эпизоды. Мы стали общаться с помощью полюбившихся цитат. Не будет преувеличением, если скажу, что в те месяцы я узнал про жизнь все.

Покончив с очередной кассетой, мы, взбодраженные и раскрасневшиеся, кое-как складывали, вычитали и умножали, разбирались, сколько миллиметров в сантиметре, а потом и в метре, разучивали стишок, заполняли календарь погоды и расставались до следующего дня. Через полтора месяца в очередном конверте меня ждала лишняя десятидолларовая банкнота — второклассник впервые окончил четверть без троек.

Можно подумать, будто постоянно пополняемая коллекция столь любопытных произведений кинематографа принадлежала невидимым родителям маленького блондина, но это не так. Фильмы покупала его старшая сестра, моя ровесница, желтоглазая студентка.

Особу эту я встречал нечасто, но и тех редких минут хватило, чтобы оценить ее характер. Знакомство наше состоялось, когда мы с мальчишкой уже съели грибной суп и собрались приступить к куриной котлете с пюре. Услышав щелчок замка и ее вопросительный окрик, есть ли кто дома, я захотел запереться в санузле, включить воду и сделать вид, что меня нет. Предчувствие не обмануло — едва войдя на кухню, она окинула меня неодобрительным взглядом и заявила, что домработ-

ница не имеет права сидеть за одним столом с хозяином. Губы мои задрожали, и я мужественно ответил, что не являюсь домработницей. В другой раз она пришла с компанией, бросила мне купюру и велела сбегать за шампанским. Пронюхав, что мы с ее братом подсели на видик, она посулила мне разоблачение перед родителями. Была весна, учебный год близился к концу, я уже накопил на проигрыватель для компакт-дисков и даже кое-что сверху, душа пела. Я ответил, что пусть разоблачает, если невмоготу, мне все равно. Раскрыла она наш киносекрет или нет, не знаю, вскоре я уволился по собственному желанию — близилась сессия, требовалось поднапрячься. До того как я покинул место гувернера, произошло еще одно событие, без которого этот рассказ ни за что бы не состоялся.

Как я уже отметил, наступила весна, сугробы на клумбах скукожились, обнажив не только накопившуюся за зиму дрянь, но и кое-что весьма любопытное. Стоя у окна и диктуя второкласснику коротенький диктант, я вдруг увидел торчащий из земли камень. Не валун какой-нибудь, не элемент японской горки, а камень правильной формы, только слегка покосившийся. Не особо примечательный, он казался

между тем настолько инородным и странным, что я не мог больше думать ни о чем другом. Удивившись тому, что, живя в соседнем доме и с детства слоняясь по дворам, никогда этот камень не видел, я прервал диктовку и подозвал второклассника. С радостью отбросив тетрадь, он влез на подоконник и сообщил, что камень этот непростой и что он готов его тотчас показать мне поближе.

Наскоро обувшись, мы спустились во двор и, к моему величайшему удивлению, прямо возле подъезда обнаружили самую настоящую могилу. Из земли торчало массивное основание памятника, явно когда-то украшенного вазой с ниспадающей тканью или ангелом с крыльями. Склонившись к тусклому граниту, испещренному сколами и царапинами, я различал отдельные буквы и целые слова. Кроме «раба Божия» и «полковница» можно было разобрать отчество — Ивановна, фамилию — Козлова и год смерти — одна тысяча восемьсот тридцать седьмой.

Наличие могилы перед подъездом огромного дома поражало. Проведя пальцами по едва различимым буквам, погладив трещины, я отошел в сторону. Мой подопечный, прыгавший все это время поблизости, пнул камень на

прощание и с сожалением последовал за мной дописывать диктант.

Лето я проводил в городе, слоняясь по району, после того как разочаровывающе быстро насытился купленным CD-проигрывателем. Как-то раз мы с приятелями осмелились пойти в ночной клуб. Всю компанию, к нашему удивлению, пропустили, и мы, обалдевшие от везения, спустились в грохочущее и мигающее подземелье. Пока, робея и прикидывая, хватит ли денег заказать в баре хоть что-нибудь, я делал вид, что происходящее для меня привычно и обыденно, кто-то подкрался сзади и закрыл мне руками глаза. Руки явно были женскими. Я обрадовался и назвал первое попавшееся имя.

Неизвестная сняла ладони с моих глаз, я обернулся, и желтый взгляд пронзил меня. Потом мы курили и болтали, крича слова друг другу в самые уши. Когда подошел парень из ее компании — может быть, он имел на нее виды, а может быть, это был ее парень, — короче, когда он подошел и спросил, куда она подевалась и кто такой я, она сказала, что никуда она не подевалась, а я ее любовник. И поцеловала меня так резко и неожиданно, что уголок переднего зуба сколола. Моего зуба.

Мы стали неразлучны. Ходили по дворам, обнимались в каштановой роще между цирком и детским музыкальным театром, позади здания аварийной службы на улице Коперника я рвал ей китайские яблочки, а она не ела. Мы часами говорили по телефону и не могли расстаться в подъезде. У нее были острые косточки на бедрах, она ими очень гордилась.

Я снова стал бывать в трехкомнатной квартире на втором этаже и даже иногда по старой памяти помогал с уроками возмужавшему блондину, ставшему третьеклассником. Теперь он возвращался из школы самостоятельно, сам разогревал суп, котлеты и пюре, сам делал уроки, а фильмами интересоваться перестал. Лишь изредка, вспоминая былое, мы втроем устраивались на диване и ставили что-нибудь любимое — запрещенное и аморальное.

Как-то раз поздней ночью я провожал ее. Мы ласкались, сидя на ограде возле могилы, и вдруг ее тело обмякло, и она упала в кусты ярких осенних цветов, высаженных рядом с надгробием. Не в силах удержать ее, я повалился сверху, успев только защитить ее голову от удара о гранит. Когда до меня дошло, что она потеряла сознание, я нервно рассмеялся. Оглядевшись по сторонам и никого не увидев,

я не придумал ничего лучшего, чем ударить ее по щеке и тотчас поцеловать. Во мне заговорили знания, почерпнутые из фильмов и детских сказок, когда шлепки по лицу и поцелуи поднимают с одра. После первого раза ничего не случилось, и я повторил. И снова повторил. Я впервые бил женщину, бил, чередуя удары с поцелуями. Не успел я увлечься, как она раскрыла глаза.

Одним солнечным октябрьским днем в универе отменили занятия, и я взбежал по знакомой лестнице на второй этаж, чтобы дождаться ее. Третьеклассник впустил меня, он прилежно корпел над учебником английского, а я рассматривал хрустальную посуду, стоящую за стеклом одного из огромных, во всю стену, шкафов. Эти темно-коричневые шкафы с многочисленными дверцами громоздились у них повсюду, и каждый представлял какую-нибудь породу дерева. Когда мне наскучило наблюдать богемское сверкание, я решил помочь своему бывшему воспитаннику с уроками, но он, повзрослевший, во мне уже не нуждался. Тогда я устался в окно, в то самое, под которым полковница.

И вот смотрел я на камень, задумался, не помню уже о чем, и тут мои мысли прервала

машина японского производства, въехавшая в картину моего мира. Автомобиль остановился перед подъездом, и сквозь лобовое я увидел ее. За рулем сидел неизвестный. И мне почему-то захотелось с подоконника слезть, отвернуться и не видеть ничего, а что видел, забыть. Но ни отвернуться, ни тем более забыть я не мог. Между ними тем временем началось, и в какой-то момент она распахнула дверцу и выскочила с хохотом, а он через сиденье перегнулся и обратно ее затащил.

Я смотрел на мельканья под лобовым, а поверх пузырем отражались деревья и небо. Я смотрел и тогда, когда иномарка укатила, а она, раскрасневшаяся и торопливая, вошла в комнату.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она, и я подумал, что не знаю, что я здесь делаю.

Спустя годы, по просьбе кабельного канала, пригласившего меня к участию в программе о близком сердцу столичном районе, я с двумя операторами побывал в родном дворе, заглянул на баскетбольную площадку, где, к собственному удивлению, забросил трехочковый, и, конечно, пошел к могиле. Гранит и яркие осенние цветы были на прежнем месте. Я снова, как восемнадцать лет назад,

водил пальцами по «рабе Божьей», по «полковнице», по фамилии Козлова, по отчеству Ивановна, по тридцать седьмому году смерти. Пальцы гладили выщербины и трещины, обрисовывали в воздухе утраченную вазу или ангелка, а я смотрел на окно второго этажа. Ничего не изменилось — удивительно для нашей богатой ремонтами эпохи. И рамы прежние, и все тот же старомодный кондиционер, те же вертикальные жалюзи. Мне даже показалось, что кто-то на меня смотрит через щель.

Программа с моим участием вышла в эфир, и я снискал славу незаурядного краеведа. Многие жители района удивились, что ничего о могиле не знали. Известно, что еще полвека тому назад здесь стояло большое село Семеновское, при нем имелась церковь и кладбище, но на сохранившуюся могилу никто почему-то внимания не обращал. Кто-то обнародовал карту, на ней было обозначено, что дом стоит прямо на месте бывшего кладбища и церкви. Суеверные заволновались, верующие потребовали восстановления культового сооружения прямо во дворе вместо детской площадки, атеисты ощерились многочисленными подписями против. Я получил письмо.

Неизвестная сообщила, что стоило бы разобратить имя погребенной полковницы Козловой, потому что если под камнем покоится Харитинья Козлова, тоже при жизни полковница и тоже Ивановна, скончавшаяся в том же одна тысяча восемьсот тридцать седьмом, то это не просто полковница, а родственница поэта Пушкина.

Не найдя в квартире мела, я взял с собой немного муки и снова отправился к камню. Готов поспорить, что за последние лет сто ни один мужчина не навещал полковницу так часто. Дорогой я думал о том, что будет очень забавно, если каким-нибудь полицейским вздумается меня обыскать. Они найдут пакетик с белым порошком и спросят, что это, а я отвечу — мука, тогда они спросят, зачем, а я отвечу — хочу разобрать имя мертвой полковницы...

Добрался я благополучно и, в который раз склонившись над камнем, принялся втирать муку во все его неровности. Удивительное чувство: трепет и волнение. Вот-вот случится. Удача или разочарование, открытие или провал. Я сыпал муку и тер, сыпал и тер. Двор был пуст, мимо юркнул лишь нагруженный громадным школьным рюкзаком толстый млад-

шекласник. Я втирал муку, и под пальцами стали проявляться буквы с римскими насечками, буквы, более не используемые, и буквы, вполне привычные. Вместе они составляли слова и числа — старинное имя Харитинья и год рождения одна тысяча семьсот девяносто первый. Когда я отряхивал ладони, мне показалось, что на меня опять кто-то смотрит из-за жалюзи.

Совпадение выходило полное — во дворе жилого восьмизэтажного дома по адресу Ленинский проспект семьдесят три дробь восемь возле седьмого подъезда обнаружена могила Харитиньи Ивановны Козловой, полковницы. Либо это невестка Аграфены Ганнибал, двоюродной бабки великого поэта, либо ее абсолютный двойник.

Попытавшись узнать о ней больше, я узнал немного: в восемьсот одиннадцатом она купила имение Захарово, то самое, где Пушкин провел детство под присмотром знаменитой няни Арины Родионовны, целых сорок пять тысяч выложила, и похоронена она якобы неподалеку, возле церковной ограды. Сообщалось также, что Арина Родионовна с новыми хозяевами не осталась, а уехала, зато ее потомки по сей день проживают в тех местах. Госпожа Козлова

же обустроилась основательно, и не зря — ее наследники владели имением целый век, до самой революции. Решив, что полковница хоть и была рачительной, но вряд ли настолько, что умудрилась лечь разом в две могилы, я отправился на поиски церкви с оградой.

Выйдя на станции «Голицыно», я скоро нашел место, где, по официальной версии, закопана раздвоившаяся полковница. Побродив среди нескольких заросших мхом камней, с трудом разбирая высеченные на них слова, я обнаружил пять-шесть почтенных граждан и умершего в малолетстве брата Пушкина. Полковницы не было. В эпоху великих свершений в нашем городе передвигали целые дома. Может, кому-то взбрело в голову перетаскать и могильный памятник Харитиньи Козловой? На манер триумфальной арки или купеческого дворца с Тверской.

В местном музее о Козловой ничего не слышали, а одна служительница, особенно бойкая, так расстроилась из-за собственной и всеобщей некомпетентности, что предложила мне подняться в бельведер — оттуда открывается прекрасный вид. Не успел я согласиться, как уже ступал по скрипучей лестнице.

Пол в бельведере был усыпан дохлыми мухами, а стекла не по-усадебному закрывали вертикальные жалюзи. Я раздвинул пальцами полоски в одну сторону — река, раздвинул в другую — аллея, раздвинул в третью — церковь и могильные камни. Служительница потянула шнур, полоски повернулись, и везде сделался пасмурный свет.

Отец моей желтоглазой возлюбленной, как позже выяснилось, был каким-то некрупным, но деловитым чиновником. Через несколько лет после нашей размолвки он вышел в отставку и со всей семьей перебрался в другую страну. Поговаривали, что возбуждено дело о хищениях, которое, впрочем, вскоре закрыли. Мы с желтоглазой надолго потеряли друг друга из вида, но спустя десять лет бурное развитие социальных сетей привело к тому, что она меня разыскала, написала и сообщила, что скоро окажется в Москве и не прочь повидаться.

Мы встретились на одной из подземных станций возле какой-то гранитной формы. Кажется, у колонны со скульптурой. Или у арки с вазой. Выбрались на поверхность — повсюду гранитные ступени среди гранитных стен, гранитные мостовые и гранитные головы. Уж не размно-

жились ли надгробие полковницы, чтобы заполнить собой весь город? Мы зашли в ближайший бар и заказали по рюмке. Рассмотрев друг друга, мы пустились в расспросы и рассказы. У той уже двое деток, ждет третьего, и все от разных, у того онкология, как же так, еще нет и сорока, а этот в розыске — впугался в политику. Родители здоровы, брат стал фотографом. Список общих знакомых быстро иссяк, наступило затишье. И тогда я вспомнил про обморок и рассказал, что с тех пор полюбил чередовать поцелуи с пощечинами. Она откинулась на своем стуле, и желтый в ее глазах стал токсичным.

— Понимаешь ли, в чем дело...

Оказывается, она притворялась. Ей вдруг приспичило грохнуться как попало, чтоб подхватили, чтоб приводили в сознание.

Я смотрел на нее и почему-то не чувствовал себя обманутым. Курить, в нарушение федерального закона, не захотелось. Даже новую рюмку не заказал. Вместо этого я взял ее за волосы, притянул к себе и поцеловал. И ударил по щеке.

Желтые глаза вспыхнули. Мы все-таки выпили еще, и я ударил ее снова. И мы опять поцеловались. Так вечер и пролетел: я бил ее по лицу и целовал, бил и целовал.

Из бельведера я увидел, как к церкви подошла группа туристов. Среди них выделялась парочка обнимающихся подростков. Им рассказывали, что при советской власти кладбище снесли, а камни пустили на тротуарные бордюры. Только изваяние маленького Пушкина пощадили, а редкие сохранившиеся надгробия расставлены заново в случайном порядке уже в наше время. Парочка обнималась. Он вынул наушник из своего уха и вложил в ее. Я отошел от жалюзи и, стараясь не наступать на мух, начал спускаться.



Выхожу из ресторана и слышу: «Твоя кровь нужна детям!»

Какое этому латиносу дело до моей крови?

— Каждый донор получает билет в кино! — Пацан с желтым лицом и тонкими усишками погонщика мулов — подражатель Кларку Гейблу, — улыбался, протягивая рекламные приглашения.

Я взял один.

«Миллионы ребятишек по всему миру нуждаются в переливании крови! Ты можешь помочь прямо сейчас!»

Снизу вверх в глаза мне смотрел большеголовый африканский мальчик-вампир, жаждущий крови. Или девочка. Не разберешь. Но понимает. Так фотографируют котиков для душещипательных календарей. Взгляд бездонный. Мольба. Странно, что календари только

с котиками выпускают, календари с черными малышами разлетались бы не хуже. Домохозяйки расхватывали бы для кухонных стен.

Ливень осадил жару, попугаи кричали в деревьях, а в уголках под бордюрами еще сверкала влага, как в глазах девчонки после любви.

Девчонки, кстати, были повсюду, надели свои платица и шортики и выскочили из домов, кто с великом, кто со скейтом, а кто с одной сумочкой. Девчонки заполнили улицы, повсюду развевались их волосы, поблескивали плечи, подрагивали груди. Девчонки были особенно свежи, ливень смыл с них усталость, сон и пляжный песок.

Подходящий денек для необременительного доброго дельца. Не собирался я в кино, фильмов интересных на афишах нет, да и не хотелось сидеть в темном зале в такую пору. Но вот помочь большеголовому, кем бы он ни был, мальчиком или девочкой, я не прочь. Передвижной донорский пункт прямо за углом, на Колинз. Открыл дверцу, поднялся.

Внутри никаким дождем и не пахло, ароматы цветов и местных красавиц сюда не проникали, а если и проникали, то дошли, столкнувшись с дезинфекцией и упорядоченностью.

В кресле полулежал толстяк. К его локтевой вене присосался гибкий трубопровод, гонящий кровь в стерильный резервуар. Жирными пальцами свободной руки толстяк ласкал тачскрин. Второе кресло пустовало.

— Хочу отдать кровь детям, — вальяжно и отчасти игриво поприветствовал я медсестру.

Интересно, она голая под халатом?

Медсестра выдала анкету, указала маленький столик, а сама скрылась в кабинке на корме автобуса. Улыбнувшись мужчине в кресле, мол, мы с тобой, мужик, братаны, я принялся заполнять анкету.

— Имя?

Вывел имя.

— Возраст? Сколько тебе годиков?

Вопрос из детства.

— Тридцать пять.

— Занятие?

— Простите?

— Проституцию практиковал?

— Чего?

— Проституцию практиковал?! — повторила анкета. — Ханьки-паньки за бабки? Подставлялся за лавэ?!

Я сделал вид, что не заметил странный вопрос, и перевел взгляд дальше. Но анкета не собиралась сбавлять напор.

– Сексуальными услугами за деньги пользовался?

– Секс с женщиной, пускай хоть один-единственный раз, был?

Что за издевательство? Я отер капли, ни с того ни с сего выступившие над верхней губой. Искося глянул на лежащего в кресле. Не лыбится ли подленько? Нет, уставился в свой гаджет. Усилием воли я вернул глаза к анкете. Не я читал вопросы, а вопросы гаркали на меня. Держали за подбородок, заставляли не отворачиваться, прямо в глаза смотреть и будто лампу в лицо направили.

– Болееешь чем-нибудь, что может стать угрозой для других? В террористических организациях состоишь? По уголовке привлекался?

– Вы меня не за того приняли! Не состою я нигде. Не болею, не умею, не был...

– Наркота, шлюхи, стволы, экстремистская литература?

– Нет!

– Отмывание денег?

– Нет!

– В пытках участвовал, мирных жителей расстреливал? Геноцид, военные преступления?

– Да нет же!

— Жалкий ты человек.

Анкета закончила экзекуцию, вдруг потеряла ко мне интерес, отвернула лампу.

— Почему я жалкий?

Анкета молчала.

— Почему?! Отвечай, а то изорву в клочки!

Я крутанул обратно на себя воображаемую лампу и даже умудрился обжечься о воображаемый плафон.

— Изорвешь? В клочки? — передразнила анкета. — Какие мы вдруг стали гордые. Ну изорви, тебе меня новую дадут. Да что там новую, я теперь навсегда в твоём сердце. Ведь правда?

В сердце она навсегда! Мразь.

— Ты что надулся?! К мамочке захотел? Ладно, ладно, не кипятись. Ранимый какой... Ты живешь, как гусеница в коконе. Спишь, а не живешь. Конформист, ничтожество. Дожил до тридцати пяти и ни разу не кидал камнями в полицейских, не забрасывал правительственные учреждения бутылками с зажигательной смесью, не состоял в повстанческих отрядах, не фотографировался с «калашом» наперевес на фоне зарослей, незаконным оборотом не занимался, не участвовал в массовых казнях женщин и стариков, — перечисляла анкета мои грехи. — Даже наркоты детям не толкал! Кто ты после этого, а?

Да я таких хаваю на завтрак! Думал добренькое дельце по-быстрому обтяпать? Да ты всего себя обкорнал! Все свои мечты съел в детстве с соплиями! А ну прекрати ногти кусать!

Я не мог ни оправдываться, ни соглашаться, лоб горел, строки поплыли. Обкорнал, обкорнал... В моем возрасте Христос уже вдоволь нараспространялся экстремистских идей, увлек за собой шлюх и два года как воскрес! А я до сих пор не то что воскреснуть, я даже умереть не пытался. Любил ли я за деньги? Обращался ли сам к платной любви? Стыдно так, что кожа зудит. Чешусь. Не любил, не обращался. Чертово интеллигентское детство — книжки, где потные гимназисты торопливо овладевают чахоточными гетерами, весь аппетит отбили. Так и вижу корешки томов, орущие с полок: «Грязь! Стыд! Позор!» Конечно, пацаны с работы регулярно ездят в бордель, с собой зовут, но я никогда. Даже горжусь — я за любовь не плачу. Я не против коротких и, в известном смысле, случайных связей, но бесплатно.

С каждым новым «нет» будто кусок от себя отрезаю. Скоро ничего не останется. Ради чего живу? Ради работы, типа, на будущее? Ради семьи, сына? Ради родителей, ради того, чтобы одиннадцать месяцев в году вкалывать

в агентстве, а оставшиеся тридцать дней плюс накопленные премиальные отгулы отмокать здесь на океане? И вот результат — мне хамит какая-то отксеренная анкета на двух листах А4. А что здесь? Утром бассейн, потом спортивные тренажеры, по средам и пятницам видеоразговор с сыном, иногда с родителями. После свободное время, которое заканчивается обедом. Овощи, руккола, выращенная без применения химических удобрений, артишоки с органических ферм, авокадо. Нежирное мясо без антибиотиков. После обеда пищеварение, сон, непродолжительное чтение. Прогулка быстрым шагом в сторону пляжа, забыл подстилку и крем, но ничего, пляж давно надоел, пляж для приезжающих на уик-энд лохов, а я уже местный, поэтому, сменив направление, двигаюсь в сторону ужина, компоненты ужина напоминают компоненты обеда плюс вино из тонкого бокала. Берешь шесть бутылок — седьмая бесплатно. Пью и смотрю на свет сквозь бокал. Так можно всю жизнь просмотреть.

Другой бы на моем месте полные тарелки отфотографировал — и в ленту, только не я. Будешь выпендриваться, наживешь завистников. А я осторожный, у меня в семье все осторожные. Выжили, потому что не высывались, не

рыпались, когда других к стенке ставили, во время голодухи продуктовые заказы втихаря жрали, задернув шторы, друзей не заводили, чтоб гостей в дом не звать. Жаловаться не на что. Я люблю сына. Но разве сын скажет спасибо за то, что я не практиковал проституцию? И уж конечно, за то, что не пользовался услугами тех, кто практикует, тоже уважения сыновнего не дождешься. Скорее всего, станет обвинять, что разошелся с его мамой, виделся с ним редко, то работа, то отдых, а он, мол, бедняжка, вырос в неполной семье. Это его травмировало, пошатнуло психику, он стал не таким, как все, и занимается теперь сексом с мужчинами за скудное вознаграждение, хотя достоин большего, но не умеет себя поставить из-за приобретенного в детстве комплекса неполноценности. Как же бестолково я провел жизнь! Буржуа в брюках со стрелкой. Уму непостижимо, как я, такой тихоня, умудряюсь руководить отделом, строить подчиненных, отвечать за сроки? Как я вытрясаю из маниакально-депрессивных криэйтеров идеи и тексты, как организую съемки и монтаж материала?

Каждая новая обведенная «No» уносила меня все дальше от тающего вдали года рождения. Я думал о том, что изменить все очень лег-

ко и от этого еще труднее. О том, что большеголовому девочке-мальчику с пригласительной открытки я, конечно, помогу, но себе уже нет.

Выглянув из своего закутка, медсестра проверила шланг на полулежащем джентльмене и справилась, закончил ли я. Закончил. Медсестра пригласила в закуток на корму. Два стульчика, столик. Вроде исповедальной, только исповедник, точнее сказать, исповедница, не за ширмой, а прямо перед носом.

Насупив очки, медсестра изучала мою омерзительно непорочную анкету. Я стал ждать с безразличием победителя, которого победа совсем не тешит.

Медсестра взяла какой-то список и стала сверять с анкетой. После долгих поисков она заговорила:

— Жили в Европе?

— Ну да, я там и сейчас живу. В России. Здесь на каникулах.

— В России, говорите? — Она снова погрузилась в список.

— Может, в Хорватии? — Медсестра поглядела на меня так, будто я пытался ее надуть, и не как-нибудь, а по мелочи. Выдаю себя за русского, а у самого на башке хорватская шляпа с лентой и жилеточка вся в узорах.

— Я из России. Раша и Кроаша, конечно, похожи по произношению, но кое-чем отличаются.

— Чешская Республика? — сделала новое предположение медсестра.

Не успел я отказаться и от Чехии, как медсестра принялась уговаривать:

— Вы уверены? Я слышала, у них были проблемы, страна развалилась.

Я никак не мог понять, что происходит. Выглядело, будто я утаиваю самое главное. От этого другие мои ответы выглядели подозрительно идеальными. Праведник нашелся, младенцев не ел, а из какой страны — не знает. Медсестра смотрела в упор увеличенными линзами очков глазами и говорила со мной, как с психом:

— Вспомните хорошенько: Украина? Польша?

Я почувствовал себя нехорошо. Тревоги по поводу трагически профуканной жизни, пожиравшие меня еще несколько минут назад, ушли на дно под весом чего-то нового, абсолютно невероятного. Мою родину, самую большую страну в мире, не могут найти в списке государств. В голове не укладывалось, как можно не знать, что Россия вовсе не Чек Репаблик, не Польша и не Кроаша. Как можно не заме-

тить на карте огромное пятно под названием Россия?

— У вас есть карта? — спросил я.

— Нет. Есть только список всех государств по континентам.

Я принялся водить пальцем по строчкам. В Европе Россия и вправду не значилась. В Азии имелись Афганистан, Бирма, Вьетнам, Камбоджа, Киргизстан, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан. На других континентах России тоже не нашлось места. Я был в бешенстве, все эти моджахеды в балахонах, косоглазые сборщики паленых айфонов, народы, предназначенные для уборки тротуаров и строительства подземных гаражей, массажистки, бесполое трансвеститы в списке были, а я нет! Это, однако, происходило взаправду. Американская медсестра весьма смутно представляла себе географическую карту. Она не то что ничего не знала о России, но сомневалась, что Россия — настоящая страна, а не выдуманная авторами комиксов про то, как Супермен победил Империю Зла в Холодной Войне. Стенки задвигались — вот-вот обрушатся, пол провалится, а сам я растворюсь, превращусь в песок и буду сметен щеткой гаитянского дворника. Никакой поэт Пушкин, Андрей Рублев, Сергей Радонеж-

ский, Тарковский, Пастернак, Достоевский, Ленин, Сталин и кто там еще, кого в России считают чуть ли не пупами Земли, мне не помогут, потому что их не существует. Хоть ты упейся кровью, умалюйся иконами, усочиняйся толстенными романами, тебя в списке нет. Не существовали надрывающие глотку воплями о Великой России, которая с каждым днем все «более лучше» поднимается с колен. Не существовали и те, кто едко вякал, что никакого величия нет, а есть только Сраная Рашка, чванливая и закомплексованная, вооруженная надувными танками, которая и на коленях-то никогда не стояла, а только пузом по дымящимся торфяным болотам елозит.

Я думал о стариках, врачах, учителях и военных, которым постоянно повышают содержание. Родители, бывшая жена, черная речка в серебряных зарослях. Сын так любит, когда я подхватываю его на руки и кружу.

А моя работа? Агентство инноваций. Отдел улучшения имиджа России в мире. На средства, оставшиеся от передела бюджетов, мы с утра до вечера придумываем, как бы улучшить этот самый имидж, и улучшаем! Мы выискиваем живописные уголки, бескрайние леса, зеркальные озера и горы до небес, раскапываем дере-

венских самородков, городских вундеркиндов, любую мелочь бережно отмываем и объектив камеры наводим. Наши съемочные группы уже таких красот наснимали, таких интервью назаписывали, таких бриллиантов в повсеместной грязи нарыли, что можно подумать, будто Россия — настоящий рай, где узкоглазые, черножопые и жида дружно живут бок о бок с русским быдлом. И тут оказывается, что весь этот мир существует только в моем воображении. Здесь никто об этом мире не слыхивал, разбирается он о список медсестры, проверяющей мою анкету в передвижном донорском пункте на углу Линкольн и Колинз.

— Мы не можем взять вашу кровь, — сказала медсестра, кося глазами в сторону.

— Почему?

Медсестра улыбнулась, и я понял, как улыбаются умалишенным перед инъекцией.

— Я не могу заполнить на вас бумаги, вашей страны не существует. То есть ее нет в списке, — смягчилась медсестра. — Мы очень ценим ваше желание помочь, но... Возможно, когда-нибудь потом пришлют новый список, и вы сможете отдать свою кровь детям. Не расстраивайтесь, — что-то дрогнуло в ее голосе, она накрыла мою ладонь своей. — Мой отец говорит: «Мы только песок».

Только песок. Я встал со стула. Под сочувственно-подозрительным взглядом полулежащего толстяка, с которого все сливали и сливали, а ему хоть бы хны, медсестра выпроводила меня из автобуса.

Шибанули ароматы, в уши ворвались автомобильные гудки, голоса прохожих и крики ресторанных зазывал, сверкание ног и плеч ослепило. Автомобильные тромбы закупорили городские артерии. Город стоял и гудел. Зато моя кровь ускорила бег. Кровь бунтовала, ею побрезговали. Она, видите ли, может навредить маленькому черному головастiku, добьет его, и тогда с фотосессиями придется распрощаться. Кровь чувствовала вокруг другую кровь. Много крови, закупоренной в людей и готовой излиться.

Я был как земной шар — кипящий лавой внутри и мирный снаружи. Сам не знал, когда рванет. Пошел куда-то. Задержался возле детской площадки, что у самого пляжа. Поглядел мечтательно на качели. Всегда прохожу мимо, а покачаться не решаюсь. Взрослым не положено. Люди решат, я тронутый, в детство впал. Теперь все качели, горки и другие увеселительные снаряды занимали малыши в шляпах от солнца. Один играл возле самой ограды.

Подгребла воспитательница, посмотрела на меня, как на забытый под кроватью носок, и спросила, чего надо. Ничего? Тогда попрошу отсюда. Просто стоите? Сейчас полиция разберется, кто тут просто стоит. А малыш язык напоследок показал.

И хорошо, что нет ее, России этой! Пропади они пропадом, пушкины, рублевы и менделеевы с их томами, колоритом и таблицами, провалитесь деревенские кулибины и величественные пейзажи, если вместе с вами исчезнут распорядители приютов, присваивающие пожертвования, борцы за нравственность, призывающие к расправе, главнокомандующий, принимающий парад, развалившийся в кресле, полицейские, сующие задержанным бутылки игристого, акушеры, закатывающие мертворожденных младенцев в бочки, которые потом сваливают в придорожные кюветы. Надо успокоиться... все хорошо... просто ничего нет... и не было никогда...

Небо погасло, зажглись витрины. В магазине я взял чего покрепче. Стал заливать в себя, словно чернила в склянку, которая была прозрачной и стала обретать цвет, объем, вес. Это помогло мне возникнуть. Вышел на пляж, остался один на один с набегающей волной. Подкатывало ощутимо, выпил я порядочно.

– Слава России!

Парочка влюбленных, шептавшаяся возле домика спасателей, притихла.

– Слава России! – скандировал я, кидая зиги и распугивая романтиков.

Голос мой то ревел, то срывался. На меня скоро перестали обращать внимание.

– Вы откуда, мужчина?

– Слава России! Зиг хайль!

– Сладкий, ты откуда приехал?

Догадавшись, что слова обращены ко мне, я повернул башку на голос и увидел глаза. Черный мальчуган, едва заметный в отблесках фонарей с набережной, смотрел снизу вверх. Прямо с донорского пригласительного сошел.

– Россия! – пролаял я в черное личико.

– О, Раша! – восхитился мальчуган. – Снег, да? Много снега? Холодно?

Он обхватил себя руками и поежился.

– Ты из Сибири, да?

– Сибирь. Да.

Я протянул ему бутылку. Он многозначительно взял горлышко в рот. Сделал глоток.

– Хочешь, отсосу?

Не получив ответа, малыш объяснился:

– Я дам тебе полтинник и отсосу.

— Зачем? — спросил я, не решаясь забрать бутылку, которую озорник придержал. Он на секунду задумался.

— Ты клевый. А здесь все искусственное, не настоящее: острова насыпаны из мусора, пальмы трансенные, улыбки — обязанность, красота — работа хирурга. А ты другой, ты отличаешься, в тебе что-то есть, сразу видно. Ты настоящий. Какая разница, кто тебе отсасывает, баба или красивый черный мальчик? Минет избавляет от высокомерия. Когда я сосу, я обретаю Бога. — Он шутливо сыпанул в меня песочком.

Я отряхнулся.

А еще говорят, за рубежом люди не умеют вести задушевные разговоры.

Я пытался осмыслить происходящее. Погладил круглую курчавую башку. Чудо. Надо такие расслабляющие подушечки делать. С надписью «Россия, вперед!».

— А деньги у тебя есть?

— Конечно! — Мальчишка с готовностью вытащил из кармана купюру.

Я потянулся за ней. Он игриво отвел руку, но, разглядев мою мрачную физиономию, отдал.

И я побежал.

— Слава России! Слава! — орал я на бегу, тяжело дыша.

– Стой, русский! – кричал преследовавший меня сосун.

– Слава России. Раз, два, три. Слава России, раз, два, три, – подбадривал я себя.

Я остановился и, уперев руки в колени, стал отдыхать, сплевывая. Мальчишка подбежал и нерешительно толкнул меня в плечо:

– Верни деньги!

Не поднимая лица, я протянул ему полтинник.

Он забрал мой незаработанный гонорар, потоптался и несильно ударил меня бутылкой по уху. И бросил бутылку под ноги.

Я поднял бутылку, на дне которой, слава России, немного осталось. Отхлебнул и пошел прочь, низко опустив голову.

По небу плыли льдины, под ними трепыхалась беленькая луна.

Пропустив ужин, я очнулся на рассвете в зарослях кустарника. Прильнул к поливальному разбрызгивателю – здравствуй, новый день.

Я сам и есть Россия. Балет, балалайка, березка, водка, горбачев, гулаг, дача, икра, калинка, калашников, миг двадцать девять, наташа, оливье, перестройка, распутин, сибирь, чернобыль, чечня, ушанка, бабушки с яблока-

ми вдоль шоссе. Россия во мне. В крупицах песка на руках. Я поднес пальцы к губам – на губах остались песчинки.

Я стал идти и скоро оказался на детской площадке с качелями. Резиновое сиденье согнулось под моим весом, цепи натянулись. Откинул спину, согнул ноги – разогнул. Согнул – разогнул. Когда летишь вверх, посыпанная опилками земля подкатывает к горлу. Летишь вниз – небо опрокидывает грудь.

Солнце барахталось в пышных утренних облаках. Ветерок нежно ерошил волну. Я соскочил с качелей и пошел вдоль прибоя, иногда вздрагивая – синие пузыри выброшенных на берег медуз громко лопались под жаркими лучами. Мужчина с ребенком на руках смотрел вдаль. Я тоже стал смотреть. Там, за водой, за кораблями, дом. Там сын. Там страна, которой нет в списке и вместе с которой мне еще предстоит возникнуть. Пора возвращаться туда, ведь столько еще надо успеть. Изготовление зажигательных бомб, штурм правительственных учреждений, организация повстанческих отрядов, казни мирного населения, насилие, шантаж, незаконный оборот, костры из книг на площадях.

Я продолжил идти, обогнув мужчину с ребенком сзади, чтобы не заслонять им океан.



Выполняя свои прямые обязанности, она везла лауреата на вокзал. Накануне он выступил с докладом, а сегодня торопился дальше — премию ему вручили всего три месяца назад, и спрос на него был еще высок.

Она выбрала красивую дорогу, через центр, решив, по обыкновению жительницы маленького городка, что провинциальная парадность забитых грязными автомобилями улиц для гостя интереснее запущенных объездных переулков. Она даже устроила небольшую экскурсию: здесь она в хорошую погоду совершает пробежку, в этом здании расположен ее университет, вон рынок, на котором она покупает творог у знакомой старушки. Старушка такая славная, и творог чудесный. От проверенной коровы. А на этой улице живет ее бабушка, бывшая переводчица секретного оборонного предприятия.

Остановившись на очередном светофоре, она разжала пластмассовую заколку, и пряди цвета канифоли завалили ее плечи. Встряхнув головой, она продолжила было рассказ о примечательных местах, но тут лауреат с удивлением увидел свои собственные пальцы. Растопыренные, они погрузились в канифольные пряди, пробрались к затылку и крепко сжали. Лауреат, не ожидавший от своей руки такого, не стал, однако, противиться.

Пальцы перебирали и стискивали. Она закрыла глаза, сказала «ааа», как на приеме у терапевта, и почему-то крепко сжала руль. Сзади погудели.

Накануне вечером, после его доклада, она помогла ему избавиться от назойливых членов местных творческих союзов, от пришедших застенчивых девушек, от страдающих шизиков, которые непременно являются на выступления столичных гостей, кем бы те ни были, пусть и абсолютными шарлатанами. Она увлекла лауреата за собой, доставила его в гостиницу и собралась уже прощаться, когда он предложил выпить в баре.

Ей стало неловко — настолько предложение обрадовало. Не обрадовало, а скорее удовлетворило, как удовлетворяла его обходи-

тельность и простота. Приглашение выпить она сочла за хороший тон, за подтверждение своей женской конвертируемости. А еще она просто любила это дело: сесть вот так в баре и потягивать или, наоборот, опрокинуть залпом. Согласилась и поэтому тоже.

Едва они устроились за столиком, как она полезла в телефон за скидочным кодом, но опомнилась: такая запасливость — удел старых дев. Переплачивать не хотелось, хоть он наверняка не позволит ей дотронуться до кошелька. Стараясь отвлечься от назойливой мысли об экономии, она принялась его усердно расспрашивать и не заметила, как, поддавшись не столько обаянию собеседника, сколько его общей какой-то уютности, располагающей к доверительной беседе, позабыла про упущенные два напитка по цене одного. Ответы между тем он давал весьма общие, в подробности не пускался, подменяя конкретику философскими рассуждениями и шутками, и все больше задавал вопросы ей самой. Польщенная, она отвечала охотно и развернуто. Рассказала про то, как второклассницей ездила с родителями в Коктебель, как отец катал ее на катамаране, а по возвращении домой мама сказала, что папа от них уходит, что

у него давно другая женщина. Рассказала про своего мужа, за которого вышла после того, как отказали в британской визе. Сотрудники королевского консульства не доверяют одиноким. Муж был ее начальником, но никаких поблажек ей не делал, лишь как-то раз хотел отпуск дополнительный выписать, так она его за это строго отчитала. А вообще он добрый, ласковый, милый, тихо попивает, жалко его... Она рассказывала и рассказывала, сама себе удивлялась: уже не помнила, когда с ней последний раз такое было. И было ли. Она бы до самого утра могла так рассказывать, если бы не очередной его вопрос, на который она, помедлив, ответила односложно: нет.

Он усмехнулся с каким-то пониманием и как будто с нежностью. И, страшно сказать, с облегчением, что ее оскорбило. Разговор продолжился, хотя оба знали, что лишь соблюдают приличия, сглаживают скорое неминуемое расставание.

Вскоре он и в самом деле оплатил счет, предварительно спросив ее дозволения, не желая оскорбить ее женскую независимость. Она снова вспомнила о промокоде и снова сдержалась. Расплатившись, он собрался было вызвать ей такси, но она сказала, что сама. Тогда

он попрощался и, сославшись на утренний поезд, отправился к себе наверх.

Она же почему-то осталась. Осталась за столиком, попадая в поле зрения нескольких гостей фестиваля, проживающих в этой же гостинице и коротающих вечер за бутылкой и сплетнями. Она заказала новый бокал, но, не успев коснуться его губами, уже знала, как поступить. Сделав глоток и снова не воспользовавшись дискаунтом, она выложила пару купюр и прошла через холл к лифтам. Помешкав, вернулась к столику и выпила все до дна.

Почему она отказалась подняться к нему? Разве она не хочет? Хочет, очень хочет. Боится прослыть доступной? Не боится. Но кое-что и в самом деле пугает. Страшно привязаться. Особенно после этого разговора. Редко с кем удается поговорить. Вот привяжется она к нему, и что дальше? Страшно. Она и замуж вышла из страха, и развелась тоже из страха. Бывший ее, тот самый, о котором она только что рассказала, добрый, ласковый, из знатной местной семьи, тихо бухающий начальник, был сильно ее старше. Она, когда представила себя и его вместе через десять лет, увидела их детей, которых будет воспитывать дребезжащий старик с мокрым ртом и носом в про-

жилках, увидела и так испугалась, что больше уже не могла с ним жить.

За те несколько секунд, пока лифт, кольхнувшись, возносил ее на этаж, она успела подумать о тысяче вещей. Подходящее ли на ней белье? Подходящее. Ни на что не рассчитывая, она утром надела новенький комплект, а накануне побывала в солярии, где выстояла ровно шесть минут — в самый раз, чтобы не покраснеть, а сделаться золотистой, как ретривер. Чего уж таить — не рассчитывала, но была во всеоружии. А что, если лифт застрянет? Придется вызывать мастера, начнется шум и суматоха, ее с позором извлекут. Чего доброго, спросят — что она тут делает? В каком номере проживает? Ни в каком? А зачем тогда полезла в лифт?

Вспомнила почему-то, как в двенадцать лет начала рисовать голых дяденек и тетенок. Сначала рисовала их отдельно друг от друга, как Адама и Еву обычно изображают, а потом они стали у нее соединяться и различные эротические позы принимать. И так она увлеклась, что изрисовала целую тетрадку в клеточку и принялась за вторую. Тогда ее мать и застукала. Встретила как-то на пороге и давай тетрадкой трясти. Мол, что это такое?! Выходит, она в ее

вещах копалась, ворошила записки, перебирала секретки. Так обидно сделалось, что она тетрадь у матери выхватила и разорвала пополам. А потом еще раз пополам. И откуда только силы взялись?! Разорвала и в окно бросила. Не успели обрывки по двору разлететься, как поняла, что теперь не только мама, а вообще все увидят. Вот где настоящий позор! И побежала обрывки по асфальту собирать.

В зеркале лифта она увидела хорошенькую молодую женщину в темном платье с зелеными кругами, купленном во время прошлогодней поездки в столицу. Волосы густы и блестящи, глаза цвета «голубой металлик», зубы крепкие и линии рта очень красивые. Одного из боковых зубов не хватает — она сладкоежка, а до стоматолога все никак не доберется. Да и накладно. Но это ее несколько не портит, скорее напротив. Страхи улетучились, и лифт она покинула в настроении задорном и даже игривом. Отыскав нужную дверь, она немедленно постучалась, сопроводив стук кокетливым: «Рум-сервис».

Он открыл быстро. Раздеться перед сном еще не успел, электричество горело ярко. Увидев гостью, он улыбнулся виновато и как-то так, будто стал свидетелем нелепости. Не

замечая большей части этих нюансов и не придавая значения тем, которые заметила, она шагнула к нему.

— Обслуживание в номере, — хрипло шепнула она, подавшись к нему, странно неотзывчивому.

И только оказавшись совсем близко, увидела через его плечо сидящего на стуле человека. Весь состоящий из длинных частей — рук, ног и туловища, человек этот походил на спортивный тренажер. Она знала его — это был гость фестиваля, редактор знаменитого журнала. Узнав, что лауреат завтра уезжает, редактор решил, не откладывая, сделать интервью.

Погода, согласно прогнозу, испортилась. Ластик метели стер город, оставив перед глазами одно мельтешение. Хватка его пальцев ослабевала. Ее трехдверный «фордик» катил сквозь стихию. Нахлынувшее на них море растворялось. Выполняя свои прямые обязанности, она везла его на вокзал.

— А здесь стоял ларек, где я покупала... — продолжила она экскурсию, оправив волосы и указав на место, где когда-то покупала журнал, редактор которого так некстати приперся вчера.

Сквозь шелуху метели проглядывал желтый дом. Она продолжила:

— Журнал был дико модный. Я ждала каждый новый номер. Теперь трудно в это поверить. Не проехали бы тут — не вспомнила бы.

Они оба улыбнулись — память нарисовала вчерашнюю неловкую сцену с редактором. А ларек снесли, как и все другие ларьки. Без ларьков стало пусто и величественно. Величие почему-то всегда идет рука об руку с пустотой и одиночеством. Рука об руку... вроде как у пустоты и одиночества компания. Она рассмеялась этим мыслям. Он спросил, чему она смеется, а она ответила: так, ничему особенному. Он кивнул, понимая ее право на молчание, и рассказал, что когда-то тоже ждал каждый новый номер, прочитывал целиком, перечитывал, внимал модным словечкам и тенденциям. Хотя, если разобраться, уж больно они в этом журнале высокомерные, думают о себе невесть что, ни разу о нем не написали, интервью никогда не брали. Только вчера вон этого угораздило со своими вопросами. В самое неудачное время...

Она улыбнулась — красивые губы приоткрылись, и он заметил прореху в ее оскале. Захотелось поцеловать ее и забраться в эту

прореху языком. Все там ощупать и вылизать. Так захотелось, что он не расслышал ее слов. Ничего существенного она, впрочем, не сообщила. Подтвердила лишь, что да, заносчивость свойственна журналистам. Работа развращает. А он смотрел на ее рот, видел пустоту в прикусе и никак не мог очнуться.

Она тем временем вспомнила, как дважды в месяц поджидала у ларька, как с нетерпением раскрывала страницы и буквально сжирала советы ресторанный критикессы, охи и ахи обозревательницы моды, заумные размышления кинокритика. Даже раздел спорта проглатывала с наслаждением. В ларек привозили всего два экземпляра журнала, и за вторым неизменно являлась другая девушка. Иногда она встречала ее, ту, другую. Худая и бледная, совершенно инородная среди уездных желтых, серых многоквартирных и облезлых на две семьи домов. Бледность девушки не удивляла — розовощекие журналом не интересовались. Но было в ней еще что-то. Девушка будто сопротивлялась чему-то и удерживалась, кажется, из последних сил. И, может быть, только благодаря журналу и удерживалась.

Однажды, явившись за очередным номером и получая сдачу, она услышала от продав-

щицы, что на этот раз привезли всего один экземпляр, и вот, собственно, он и есть, и как ей повезло и как не повезло той, другой. Не осознав еще окончательно своего счастья, она отошла от ларька и увидела ее. Бледная, не вяжущаяся с пространством девушка топталась на противоположной стороне улицы и ждала зеленого сигнала светофора.

Стало стыдно. Она почувствовала себя хитрой и ловкачкой. Она слышала, как девушка на светофоре перебирает в кармане монетки, собранные точно, без сдачи. Ей захотелось бежать. Вместо побега она стала судорожно листать страницы. Рассыпала второпях рекламные картонки и не подобрала. Всмотрелась в лицо красавицы, предлагающей духи номер пять, выхватила из статьи про моду — «юбка в пол», из рецензии на фильм — «злой вундеркинд», из книжного обзора — «мясистая проза». А еще запомнились три слова с обложки — «Письма от Ренэ» — столько в них было тайны, красоты и печали. Она вдохнула картинки и печатные знаки и сунула журнал бледной девушке, как раз подошедшей к окошку ларька.

И побежала. Но не куда глаза глядят, а куда попало, потому что глаза ее в те минуты никуда не глядели.

Через несколько месяцев журнал закрыли из-за неokuпаемости. Интервью с лауреатом по каким-то причинам так и не было опубликовано. Историю про подаренный бледной девушке номер она ему не рассказала, и не случайно: история эта была неправдой. Она присочинила. И не для кого-нибудь, а для самой себя. В город и в самом деле привозили всего по два экземпляра знаменитого журнала, и приходили за ним только две девушки, она и та, другая. И с единственным номером все случилось так, как она описала, с тем лишь различием, что номер этот она бледной девушке не отдала. Увидев ту на светофоре, она не стала судорожно листать страницы, а просто пошла в другую сторону, повернула за угол и больше к ларьку не возвращалась, журнал не покупала, а бледную ни разу с тех пор не встретила.

Этот номер журнала и по сей день у нее. Лежит на видном месте. И красавица с духами, и «мясистая проза», и «злой вундеркинд». Но это все под обложкой, которую она с того дня ни разу не открыла. Зато три таинственных, печальных и красивых слова всегда перед глазами.

СОДЕРЖАНИЕ



БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕНЗЕЛЬ	5
ВНУТРЕННИЙ ВРАГ	18
КАК БЫ ОГОНЬ	100
СКРЕБЕТСЯ	132
ОН СКОРО УМРЕТ	157
ЧУВСТВО ВИНЫ	178
КРЕЩЕНСКИЙ ЛЕД	243
БИЛ И ЦЕЛОВАЛ	266
МОЯ БОРЬБА	284
ПИСЬМА ОТ РЕНЭ	303

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ: ПРОЗА О ЛЮБВИ И БОЛИ

Снегирёв Александр

БИЛ И ЦЕЛОВАЛ

Ответственный редактор *О. Аминова*
Литературный редактор *И. Добрякова*
Младший редактор *М. Камённых*
Художественный редактор *П. Петров*
Технический редактор *И. Гришина*
Компьютерная верстка *А. Москаленко*
Корректор *Д. Горобец*

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Өндiрушi: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Зорге көшесi, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгiсi: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтында Өндiрушi «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндiрген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 20.09.2016. Формат 75х100 ¹/₃₂.
Гарнитура «NewBaskervilleC». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,89.
Тираж 4000 экз. Заказ 7097.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж**
*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», 344023, г. Ростов-на-Дону,
ул. Страны Советов, 44 А. Тел.: (863) 303-62-10.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел.: +7 (383) 289-91-42.

В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев, пр. Московский, 9 БЦ «Форум».
Тел.: +38-044-2909944.

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».**
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД»,
Невский пр-т, д.46. Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

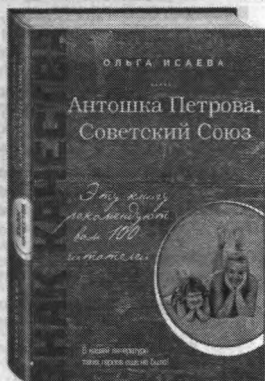
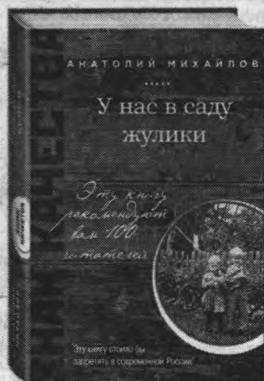
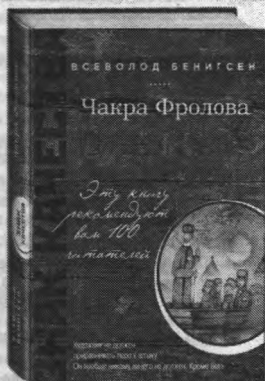
Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14.



ISBN 978-5-699-92238-3



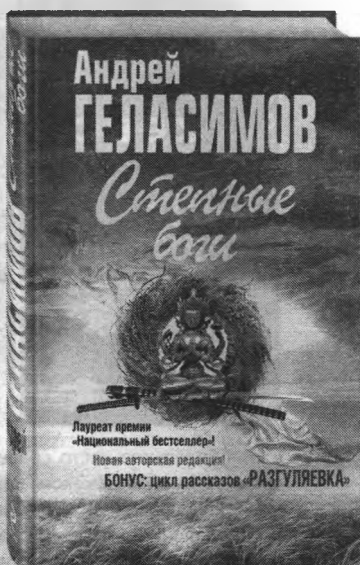
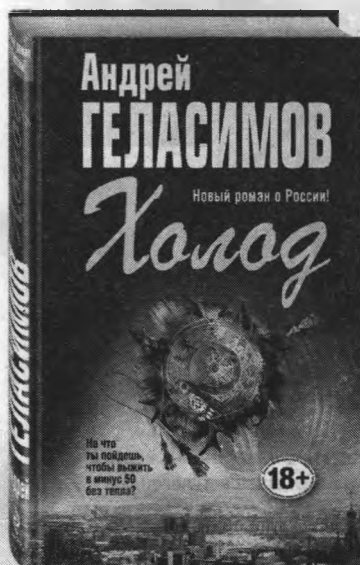
КНИГИ СЕРИИ
«ЗНАК КАЧЕСТВА»



100 ЧИТАТЕЛЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ!
Психологическая проза. Истории о нас.

Андрей ГЕЛАСИМОВ —

известный российский писатель,
лауреат премии
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»!



Читайте новинки в авторской серии
**«СЕКРЕТЫ РУССКОЙ ДУШИ.
ПРОЗА АНДРЕЯ ГЕЛАСИМОВА»**

ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ

ПРОЗА ОТЧАЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ



Игоря Савельева часто сравнивают с известным американским прозаиком Джеком Керуаком, ставшим легендой и символом поколения битников. Предельная спонтанная исповедальность языка и способность отразить текучесть и изменчивость современности – вот основные черты творчества Савельева. Его проза – проза пути, дороги. Взглядом иногда романтического, иногда иронического скитальца оглядывает автор нашу действительность и находит в ней, казалось бы, такой выхолощенной, нечто ценное: живого чувствующего человека.



Проза Александра Снегирёва драматичная, честная, чувственная. И всегда неожиданная. Его читают женщины и мужчины, студенты и пенсионеры, интеллигенты и шахтёры. Одни называют его героев подонками, другие – лицами поколения.

**АЛЕКСАНДР СНЕГИРЁВ –
ПРОЗА О ЛЮБВИ И БОЛИ.**

WWW.FACEBOOK.COM/ALEXANDER.SNEGIREV.1

«Мы стали неразлучны. Как-то ночью я провожал её. Мы ласкались, сидя на ограде возле могилы. Вдруг её тело обмякло, и она упала в кусты ярких осенних цветов, высаженных рядом с надгробием. Не в силах удержать её, я повалился сверху, успев защитить её голову от удара. Когда до меня дошло, что она потеряла сознание, то не придумал ничего лучшего, чем ударить её по щеке и тотчас поцеловать. Во мне заговорили знания, почерпнутые из фильмов и детских сказок, когда шлепки по лицу и поцелуи поднимают с одра. Я впервые бил женщину, бил, чередуя удары с поцелуями». В новых и написанных ранее рассказах Александра Снегирёва жизнь то бьёт, то целует, бьёт и целует героев. Бить и целовать – блестящая метафора жизни, открытая Снегирёвым.

«Автор умеет удерживать в рамках нормы самые дикие, вычурные сюжеты».

– В. ПУСТОВАЯ

ISBN 978-5-699-92238-3



9 785699 922383 >



LENТА.RU
РЕКОМЕНДУЕТ